



Н. Е. Русский

•

ЦВЕТЫ
МЕРТВЫХ

Степные легенды

•

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Н. Е. Русский

**Цветы мертвых. Степные
легенды (сборник)**

«Алетейя»

1952-1966

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Русский Н. Е.

Цветы мертвых. Степные легенды (сборник) / Н. Е. Русский — «Алетейя», 1952-1966 — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-907030-47-3

Первая книга загадочного писателя-эмигранта, жившего в Италии, а затем во Франции под именем Борис Лонгобарди и публиковавшегося под псевдонимом Н. Е. Русский. Произведения, несомненно автобиографического характера, повествуют о дореволюционном казачьем быте, Гражданской войне, предвоенной жизни в СССР, немецкой оккупации и «второй волне» эмиграции. Разбросанные по разным периодическим изданиям, они впервые сведены под одной обложкой.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907030-47-3

© Русский Н. Е., 1952-1966
© Алетейя, 1952-1966

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Повести и рассказы | 6 |
| Пропавшая булава | 6 |
| На Уссури | 11 |
| У Лукоморья | 16 |
| «Гунибы» | 20 |
| «За други своя» | 73 |
| Случай на маневрах | 79 |
| Карпатские долины | 81 |
| Могильный курган | 90 |
| Тризна | 94 |
| В степи | 96 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 100 |

**Н. Е. Русский (Лонгобарди
Борис Викторович)**

Цветы мертвых. Степные легенды

© Н. Е. Русский (Б. В. Лонгобарди), текст, наследники, 2018

© М.Г. Талалай, составление, научная редакция, статья, 2018

© А. Г. Власенко, составление, научная редакция, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

Повести и рассказы

Пропавшая булава Кубанская быль

Жарко в хуторе Степном. Душно, стоит середина августа. Уже покосили хлеб, поломали кукурузу, убрали кое-какую огородину. Старики в левадах возятся с медом. Девки сливы обирают в садах, а кое-кто уже к винограду подбирается.

Хутор Степной словно заснул в пыльной тишине. Полудневные короткие тени не дают убежища даже лохматым хуторским псам. Они то лежат под плетнями, отмахиваясь от назойливых мух, то лениво перебираются на другое место, в другую тень, где, может быть, прохладнее. Но и там нет спасения!

Из степи тянет сюда пряными запахами скошенных трав, от этого запаха только лень растекается по всему телу и не хочется двигаться. И даже ветерок где-то спрятался и не шевелится.

Жарко и душно в хуторском правлении. Там, в маленькой комнатке, за обыкновенным тесовым столом, дремлет хуторской атаман Гаврила Никитич Хмара. Ему пойти бы сейчас на речку, да выкупаться бы хорошенько, а тут приходится быть в правлении и высидивать часы.

Гаврила Никитич высокого роста, с широкой, выпуклой, военной грудью, на которой два креста на полосатых ленточках. Широкая черная борода окаймляет его загорелое до последней степени, мужественное лицо, брови густо висят над выдавшимися немало видов глазами.

Опершись на ладонь, он лениво смотрит в окно.

В первой комнате со столом и процарапанным старым шкафом лежит на лавке заместитель атамана, Лука Иванович Жаба. Лука Иванович совсем не похож на Гаврилу Никитича. И рост у него не богатырский, и плечи уже – так, что погоны даже свешиваются с них, и взгляд маленьких глазок какой-то искательный и бегающий.

Мало видели эти глаза на своем веку. Лука Иванович всю жизнь был писарем. Сначала сотенным, потом полковым и, наконец, каптенармусом. Что могли видеть его глаза, кроме бумаги, завитых крючков разных почерков, которые Лука Иванович научился разбирать «безо всяких», даже очков не надевал.

А уж когда в каптенармусах был, то скучнее жизни, можно сказать, и быть не может. Запах солдатского супа, нафталина и какой-то кислотины так пропитали его организм, что ему и теперь все казалось, что при встрече с ним люди морщились. Да и сам он морщился и ежился как-то. Так что хуторяне даже подозревали, что у Луки Ивановича настоящая господская болезнь имеется. Оморой называется.

И судьба как-то подсмеялась над Лукой. И вознесла его, и унизила. Тридцать лет уже, т. е. десять трехлетий, занимает он должность заместителя хуторского атамана. И тридцать лет гложет его зависть, и тридцать лет ждет он, когда черти, наконец, утащат в ад ненавистного ему хуторского атамана. А тот сидит себе, как подплетневый гриб, такой твердый, что и дрючком не сшибешь его.

Десять трехлетий атаманствует Гаврила Никитич Хмара в своем хуторе. Выбирают его каждый раз. За рост, за вид, за взгляд; за твердость характера и два креста Георгиевских.

И не сравниться с ним Луке! Гаврила-то орел степной, а Лука-то курица.

Луке Ивановичу в этот день тоже жарко, тоже душно, да и на душе противно как-то, так что он начал подумывать и сам: «а може и, действительно, у мене оморой?»

* * *

От речки, застывшей в полуденной дреме, идет, виляя узкими бедрами, девка с коромыслом на плечах. Ведро слегка покачивается под мерные шаги босых ног. Тяжело по песку ступать босыми ногами. Печет песок, расползается под ступнями, отчего глубокие следы остаются. Девка утирает уголком платка лицо, мокрое от выступившего пота. Сейчас бы во садочке в тени полежать на рядне, да с подушечкой, а то постоять под старой яблоней, что в конце сада, да перекинуться с соседским казачонком.

Идет, девка, размечтавшись, и не слышит, что позади нее давно топочат конские копыта. Сивый старый мерин хлопает копытами по пыльной дороге. А на хребте его, без седла, на попонке болтается «хожалый» из станичного правления. Запотел ездок, запарился. Остановил мерина возле девки, аж девку перепугал!

– Испить подай, красавица, – молвил он, нагибаясь с попоны прямо к ведру.

Девка приподнимает слегка ладонью ведро и подводит под выпяченные губы всадника. Парень хлюпко тянет воду, крякает, вытирает губы и нос рукавом.

– Спасибо, – говорит.

– За что спасибо то? Соплей напускал мне в воду, а еще спасибо... Езжай уж!

Она, шутя, отводит ведро и направляется к дому. Но, обернувшись, спрашивает:

– А куда тебя это несет в такой-то жар?

– Цыдулка хуторскому от окружного, – важно отвечает казачонок.

И, скинув фуражку, проверяет, там ли цыдулка.

Мерин снова захлюпал по пыли. Парень снова заболтался на нем, подбрасывая локти и шлепая о спину лошади задом. А девка пошла своей дорогой. А жар стоит над хутором и печет всех, не разбирая.

* * *

Возле хуторского правления стал сивый мерин, как вкопанный. Даже и внимания не обратил, когда сползал с него на животе всадник и почесал набитый ездой свой зад.

В правлении «хожалого» встретил заместитель, – как лежал на лавке, – для достоинства.

– Подай сюда, – сказал он.

– В собственные руки господину атаману, – возразил «хожалый».

И Лука Иванович почувствовал, как бы взаправду у него не оморой.

– Давай сюда-а!.. В собственные руки-и... Без тебя передать есть кому.

И приняв пакет, Лука Иванович отправился к «самому».

Там он очень почтительно подал атаману и стал у двери. Ибо второго табурета не было.

«Расселся! Черт бы тебя побрал!» – подумал Лука Иванович, но почтительность внешнюю сохранил и даже склонился выжидательно.

Атаман вскрыл пакет, вынул из него непослушными пальцами бумажку и, отдалив ее, начал читать. Ни один мускул его лица не дрогнул, хотя бумажка была ядовитая.

Заместитель всеми силами старался заглянуть в нее, так как вытянутая через стол рука с бумажкой едва не касалась живота Луки Ивановича. «Эх, шея короткая, а то бы можно было, изогнувшись, и заглянуть». А уж тогда он бы, Лука, прочел бы все «безо всяких», недаром был писарем и самые безнадежные почерки генеральские разбирал.

– Гаврила Никитич! Дайте я... В миг разберем!

– По-дож-ди... сам грамотной... без писарей прочитаем.

– Есть чего-нибудь того... интересное? – любопытствовал Лука Иванович.

– Нет... ничего нет для вас интересного, – ответил Гаврила Никитич.

– Ну, все-таки... не секретное же... Мажет война? – приставал Лука Иванович.

– Не секретно... а война будет! – вдруг крикнул Гаврила Никитич и поднялся во весь свой рост.

Заместитель стал казаться теперь совсем маленьким и щупленьким.

– Ишь ты... бло-ха! – сказал атаман, собственно ни к кому не обращаясь, и вышел. И уже из сеней крикнул заместителю: – За станичным бричку послать, да чтоб живо!

А сам пошел через хуторскую площадь, мимо маленькой церковки с колокольней, мимо хуторского кабака, к себе домой.

* * *

Жена его, Авдотья Никифоровна, дородная, как и подобает атаманше, женщина, с медлительными, но уверенными движениями, принялась сгребать на стол. Послала девку в погреб за холодным вином и солеными помидорами. Услала нарочито. По лицу увидела, что у мужа на душе неладно. Но виду не подала. Никогда первая в разговор не встревала, ждала, когда «хозяин ейный» заговорит. Таков обычай.

Баба управляет всем домом – от ворот до последнего плетня на базу. Баба ведет все хозяйство, а первое слово хозяину. Из уважения, чтоб и другим неповадно было, все-таки – атаман. Таков обычай казачий с испокон веков.

Авдотья Никифоровна давно замужем за Гаврилой. Да вскорости после свадьбы пошел Гаврила в поход, потом и другой, не возвращаясь. Жила Авдотья одна, хозяйничала – и в огороде, и в саду, и в поле.

Себя соблюдала строго, сохранила и хозяйство, и еще прибавила, а возвратился Гаврила с походов героем, ровнехонько чет девять месяцев родила ему дочку.

Сына хотел Гаврила, ну да на радостях рад был и дочке. Ждал долго сына. А Авдотья будто слово какое знала. Нету боле детей и все. Как отрезало.

– Слышь, Дуня, и виду не давай, ежели чего. Сам знаю, что делаю, – проговорил Гаврила и, сняв шапку, сел за стол. Рук даже не помыл, как всегда. А вынул бумажку и еще раз прочел.

– Ах ты ж, гусь лапчатый... ну, я те покажу! – скривив ус и блеснув глазами так, как он бывало сверкал ими, когда высматривал в камышах перса, турка или черкеса, – проговорил атаман.

* * *

Через час хата хуторского наполнилась до отказа казаками. Скликали всех: и того, кто в поле ковырял землю, и того, кто в садочке отдыхал от жары, и того, кто в кабаке сидел. Как же, – дело важное! Небывалое. И станичный атаман приехал. Сели за стол и начали обсуждать дело.

Гаврила Никитич встал и, вынув уже помятую основательно бумажку, расправил ее ладонью на столе и прочитал: «Хуторскому Атаману хут. Степного, Безымянной станицы, Гавриле Хмара сдать должность свою заместителю, Луке Жабе, в трехдневный срок».

В хате слышно было, как чесался ногой пес в сенях и как жужжали мухи на стекле окна. Молчали все. Лишь заместитель ерзал на своем месте, оглядывая всех, словно призывал: ну, ну, давайте же, хватайте должность атаманскую, да и мне ее, – ведь написано заместителю!

Как громом поразило присутствующих это сообщение. За что? Почему такое? Гаврила Никитич молчал. Выжидал, что скажут старики. Но старики помалкивали. Выбирать атамана они могли, и снимать его могли в следующие выборы. А обсуждать смещение атамана высшей над ним властью не имели права.

Понял Гаврила Никитович и принял свое решение.

– Дуня! Атаманша моя! А ну, угости гостей дорогих. Поставь-ка на стол что там есть!

Гости повеселели. Повставали с мест, освобождая стол для хозяйки. А Авдотья, кликнув дочку, принялась за свое дело. Девка металась между горницей и погребом, стуча босыми пятками по глинобитному полу. Подносила, подавала матери. Та становила на стол.

– Будем гулять три дня! – заявил Гаврила Никитич. Он ходил козырем среди гостей, улыбался широкой бородой и усами, скрыв в глазах под бровями что-то такое, от чего у заместителя становилось потно ниже пояса и напоминало об оморое.

– Гаврила Никитич! Так давайте сначала приму я должность, а потом уж и гулять будем, – заискивающе предложил он.

– Сказано «в три дня», ну и буду сдавать 3 дня, – отрезал Гаврила Никитич.

* * *

Все дело было в том, что Лука Иванович, по желчности своего характера, решил повалить атамана и занять его место, и давненько пописывал на него доносы окружному атаману. Наконец окружному атаману надоело, и он прислал вышеупомянутое распоряжение. Жара в воздухе была такая, что и окружной атаман не выдержал!

Сдать должность! Значить – отдать булаву, или так называемую атаманскую насеку, – т. е. эмблему атаманской власти хуторского, станичного, окружного и войскового Атамана.

Насека делалась из крепкого дерева, и в древности на ней насекались рубцы, отмечающие даты атаманства. Но впоследствии это была длинная трость с серебряным набалдашником и наконечником.

Во всех торжественных случаях атаман выходил с насекой, т. е. с булавою. Булава хранилась под ответственностью атамана, и утратить булаву было все равно, что потерять винтовку, за которую казак отвечал по суду. За потерю булавы взыскивалось строго, и чтобы получить новую, нужно было посылать ходатайство в Петербург, т. е. подвергать неприятности и окружного, и войскового атаманов.

Это отлично знал Гаврила Никитич и решил действовать в этом направлении.

После трех дней попойки, от которой болели головы у всех, приступили к сдаче должности. Когда было сдано все немудреное имущество, незатейливые бумаги и 1 рубль 67 с половиной копеек хуторской кассы, приступили к самому торжественному: к сдаче булавы. Старый атаман должен был, перекрестившись, положить булаву на стол перед всем обществом и сказать:

– Передаю власть свою достойному.

Когда наступил этот торжественный момент для заместителя, мечтавшего об этом дне, Гаврила Никитич Хмара, прежний атаман, вдруг заявил:

– А булавы нэма!

Если б ударил гром с неба, повалил крышу хаты и придавил бы всех присутствующих, это не произвело бы такого эффекта на собравшихся...

– Как нэма? Где же она?

– Нэ-ма! – коротко ответил атаман и, вынув кiset, закурил.

На заместителя напал столбняк. Он только моргал веками, и, казалось, не видел ничего перед собой. На лице его были написаны все страдания и унижения, и оморой, и тридцатилетнее ожидание булавы, которая теперь где-то в тумане маячила перед глазами в виде какого-то неясного насмешливого знака.

Никакие уговоры не действовали на атамана, никакие просьбы станичного вспомнить, куда хуторской положил булаву, не производили впечатления.

– Нэ-ма! Дэсь була, а тэпэрь нэма!..

* * *

Станичный атаман решил вызвать окружного. Тот явился во всем своем величии, – на тройке серых, в шарабане и с двумя верховыми позади.

Вместе со станичным атаманом составили план подпоить хуторского и выпытать у него, куда он дел булаву. Но не таков был Гаврила Никитич Хмара.

Пил много. Но не хмелел, и ума не терял. Уже и станичный остановился, а окружной уже спать пошел, а Хмара сидел и говорил одно:

– Нэма булавы!

В воскресенье рано пришел окружной к Хмаре и говорил с ним наедине долго. Вышли вместе, отстояли обедню. Молящиеся обратили внимание на то, что когда священник вынес Святые Дары, окружной вдруг повернулся к хуторскому, и истово перекрестился, глядя хуторскому в глаза.

Из церкви вышли все, и пошли за окружным и хуторским атаманами.

А атаманы шли к речке. Подошли к корявой раките, что росла прямо из воды. Хуторской снял штаны и сапоги.

Толпа с любопытством наблюдала, ибо многие еще и не знали, в чем дело. Окружной стоял у самой вербы и глядел вниз в воду, будто что-то хотел там разглядеть. Хуторской в бешмете, без штанов вошел в воду, направился к вербе, и долго под ней шарил руками. Потом выпрямился и, безнадежно разведя руками, вымолвил:

– Нэма!

– Что-о-о? – переспросил окружной. – Ищи ее, ради самого Господа!..

– И я буду атаман снова? – тихо спросил Хмара.

– Господи ты Боже мой! Я же сказал, что, ты! Ты, ты и больше никто, только достань ты ее, пожалуйста, не мучай, ну тебя совсем! – уже стонал окружной.

Тогда Хмара сунул руку под ракиту и вытащил, сверкающую на солнце мокрую булаву. С нее стекали веселые алмазные капельки, и радостно звенели, падая в воду. Но Хмара не подал ее окружному.

– Отойдить, пожалуйста, ваше высокоблагородье к народу, я сейчас, – сказал он.

И вылезши на траву, быстро оделся, обулся и, подойдя к окружному, подал ему булаву.

– Так я буду атаманом? – спросил он.

– Ты, ты! – ответил сияющий окружной.

Тогда Хмара принял снова булаву от окружного, отыскал глазами незадачливого доносчика и, повернувшись к нему, сказал:

– А тоби – во!!!

И он протянул заместителю, сложенную из корявых пальцев, огромную дулю...

«Русская мысль», Париж, 24 августа 1951, № 374, с. 2–3.

На Уссури

К вечеру дневной зной начал заметно спадать под заброшенным в тайге казачьим поселком. Небо все в мелких барашках, скупо, словно через решето, цедит солнечные лучи. В воздухе душно.

Река щетинится фиолетовой рябью на перекатах, разливаясь желтой мутью на глубинах.

У поселкового берега в ленивых всплесках толкуются низкобортные плоскодонки. За рекой, за свисающими у берега тальниками млеет манчжурская степь. Над ней громадный коршун воровато уплывает вдаль с добычей.

У самого поселкового берега, на высокой жердяной вышке, дремлет, обняв бердану, бородатый казак. На нем, несмотря на лето, порыжелая, лохматая сибирская папаха и валенки. Штаны с выцветшими желтыми лампасами и одна штанина вылезла наружу. Вдоль единственной улицы с новыми тесовыми избами пылит поселковое стадо. Тучи комаров и прочего таежного гнуса стелятся над ним.

За поселком густо заросшая тайгой невысокая сопка.

Пахнет хвоей, речным илом и прелым навозом. Бабы идут к реке с ведрами.

Местная «флиртачка», жалмерка уже торопится на реку купаться, стягивая на ходу припотевшую кофту с смуглых молодых плеч и кричит задорно на вышку:

– Эй, служба! Вахту-то не проели! Ружжо-то в воду не упустишь! Эй!!

* * *

На середине реки, на быстрине, в лодке с самодельным якорем, сидит поселковый пастух и разматывает удочки.

– Энта вот на сома... А энта на сазана... а энта на лешца... – Приговаривает пастух, нанизывая жирного червя на маленький крючок. Хитрый червяк не дается и старается всячески отдалить последний свой час, извиваясь, он выпускает изнутри на корявые пальцы пастуха что-то желтое и липкое. Пастух вытирает грязные пальцы о такие же грязные штаны, но продолжает операцию с червяком.

Пастуху на вид лет 50. За совершенно лысую голову его прозвище – дед Лысань. А настоящее его имя Касьян Поликарпович Бурлак.

– Ну ловись, рыбка большая и малая, а я закурю покедова. – Говорит дед свою обычную поговорку, забрасывая осторожно волосяную лесу с маленьким грузилом. Грузило, коснувшись поверхности воды, даже не булькнуло, а издало лишь нежный, знакомый и понятный лишь заядлым рыбакам, звук не брызнув, исчезло в пучине. Закинув, дед Лысань усаживается поудобнее и вынимает кисет с китайским самосадом, растирает между шершавыми, как жернова, ладонями листья и набивает маленькую на две-три затяжки китайскую трубочку.

Закурил, пустил дымок и завонял по всему плесу.

Дед Лысань известен всему поселку и даже, пожалуй, и всему берегу Уссури не только, как общественный пастух и рыбак, а еще и как неподобный бабник. За две его страсти знает поселок: рыбка и молодухки-жалмерки.

Как не может дед равнодушно смотреть на любую водную поверхность, будь то озеро, река, пруд или просто лужа, чтоб не присмотреться внимательно, так же дед не пройдет мимо любой жалмерки, чтоб не прищурить на нее своих бурятских глазок. Всякий шевелящийся предмет в воде для деда Лысаня имеет особое значение: не рыба ли? Каждая встречная молодухка магнитом тянет старого греховодника к себе:

– Ой, да кака ты, дева, ладная, да гладкая. – Приговаривал дед в таких случаях, а молодки в таких случаях шарахаются от него в сторону, для приличия.

Живет дед на окраине поселка у самого проезжего тракта в бревенчатой избушке, вросшей в землю и крытой земляной крышей с двумя узенькими окошечками, похожей издали на лицо самого деда, когда он бывал в шапке.

У деда на дворе хороший огород со всякой овощной всячиной. Пожалуй, ни у одной казачки в поселке не было такого, с ранними огурцами, морковью, длинной китайской редиской, петрушкой, укропом, луком и чесноком.

Знал дед какой-то секрет от китайцев, с которыми всегда якшался. Оттого и воняло от его огорода, не приведи Господь. Допытывались бабенки, да дед отнекивался:

– Зайди на часок когда, полон подол отвалю. А чтоб секрет выдать, ни-ни.

Ну, бабочки, известно, любопытны... секрет вот как охота узнать огородный, просто невтерпеж.

А кое-кто будто из них уже и видел, как темными вечерами сигнали бабенки к деду в землянку, а потом, попозже, крались вдоль дедовского забора. Всякое, конечно, болтают бабы, да кто им поверит? Плетут, конечно, одна на другую, будто, если сама мазнет своим хвостом другую, так и чище станет.

* * *

Сидит дед Лысань в лодке и смотрит на поплавки. Те бодро торчат из воды, покачиваются. Иногда какой из них нырнет вдруг, и снова появится. И снова торчит, как ни в чем не бывало.

Но деда Лысаня не обманешь. Он опытный, известный на весь берег рыбак. Да дед и не интересуется всеми поплавками. Он знает, что к вечеру все равно у него на днище лодки будет плескаться в мутной грязи немало добычи. Будут там и окуньки, и касатки, и налимчики, и сомики, и всякая мелочь. Река богата рыбой.

А хочется деду другого. Никто не знает его заветной тайной мечты – увидеть на дне лодки черного леща.

Всего раз в жизни видел дед черного леща, как ташил его матрос на корму парохода. Лещ был большой, фунтов на 4–5. Что твоя океанская камбала, и черный, как трубочист.

Видел дед и то, как черный лещ висел тряпкой у самого борта и как он в последний момент незаметным движением хвоста дернул за крючок и, оставив удивленному матросу свою нежную губу на память, камнем упал в воду.

Слышал дед, как отчаянно, со всей матросской фантазией, ругался тогда матрос, поминая и всех родных, и всех святых, и сахалинских зеленых крабов, полумутный чей-то глаз и закон...

По-дедовому выходило, что поймать на удочку черного леща превеликое умение. Уж очень он хитер и осторожен. Не в пример всем рыбам.

Знал уже дед и то, что трудно обмануть черного леща и приманкой. Иногда ему нравится простой червяк, иногда мятый в вареном бобовом масле недопеченный мякиш ржаного хлеба, иногда свежий горох.

Но если даже на все эти прелести черный лещ соблазнился, он и тогда не всегда проглотит приманку, а пососет, пососет и выбросит.

Даже подсеченный удачно опытным рыбаком, черный лещ еще не пойман. В этом дед убедился не раз.

Поймать же черного леща на удочку, а потом появиться с ним, в поселковом кабаке, где особенно под праздники полно всякого проезжего и прохожего по тракту люда, где можно было бы показать свою добычу не только своим, но и чужим, было заветной мечтой деда Лысаня.

И он уже давно представил себе, как это он войдя, положит небрежно на прилавок редкостную рыбу и как потребует себе целую кружку китайского ханщина и потом будет пьян целые сутки, добавляя в себя воды через известные промежутки. А любопытные будут спрашивать рыбака:

– Да как же ты это, паря, уцепил-то его?

И у деда был уже приготовлен рассказ, в правдивость которого он и сам давно поверил и составленный им в длинные зимние ночи, лежа на теплом китайском кане у себя в землянке.

– Гляжу этто я, паря, на свои снасти, а они, зараза их возьми, хотя бы хны... Торчат себе из воды, будто и не поплавки совсем, а другое что (любил дед непонятно выражаться). Я уже было подумывал сматываться да уходить, как гляжу... лешщевой-то поплавок, того будто... этого... ну одним словом: утонуть не утонул, а только видимость показал. Да меня, паря, не проведешь... Боюсь, чтоб какая лодка или китайская джонка мимо не прошла, не дай Господь. Спужают его своими шестью и тогда дос-ви-да-ни-я!

Вдруг... гляжу, паря, (тут дед Лысань должен прищурить один глаз, а потом его и закрыть совсем для усиления впечатления), повел... повел... Да как повел то, по-лешщинуму повел. Уж я-то знаю. Меня не обманешь. Да и обинно ежели, что упустишь... А он ведеть и ведеть. И не понять: не тот ведеть, не то лодка сама плыветь.

Но я-то уж знаю: черный лешщ всегда вот так... Подобрал я минуточку подходящую, да к-а-а-к дерну! Аж душа вскипела, паря, ей Бо...! Язви его! Взял! Вижу, взял, туды его, голубчик, миленький и т. д.

* * *

Манчжурский берег уже замирал в оранжевой тишине. Казаку с вышки видна вся желтевшая под закатом степь и как садились на озеро желтые утки, возвращаясь с далеких кормов.

На русском берегу бабий визг купающихся. Бабы и девки прямо в сподних рубахах лезут в воду, ухают и визжат от удовольствия, приседают и шлепают мягкими местами о воду и шарачаются от брызг.

С вышки на них косит сонный казак... Ему помешала дремать жалмерка, что-то крикнув, чего он не разобрал. Сейчас он смотрит на нее сверху и видит, как она подошла к реке, как трогает воду пальцами ног, выпачканных в коровьем помете, как разделась догола и неторопливо полезла в воду, кокетливо поводя плечами.

– А-к-у-л-я! Да ты бы хотя рубаху-то не скидала! Срамота ведь! – Кричит ей красивая девка, прячась по шею в воде.

– А чё стыдиться-то? Чать не краденное, все свое! – нарочито громко кричит Акуля.

– Свое-то свое, да казаки вишь кругом... Увидють. Вона на вышке один, а то вон и дед на лодке сидит...

– Так тож дед. Он поди и не видит ничего, – возражает Акуля, стремительно кидается в реку и плывет к дедовой лодке. Дед же сидит, поглощенный своим занятием. В тот момент для него нет ничего, кроме реки, поплавок и черного леща.

* * *

Вдруг позади его кто-то ласково так окликнул. Дед даже вздрогнул от неожиданности, но повернуть свою короткую шею не решился, так как поплавки, как на грех, подозрительно зашевелились.

Дед снова слышит позади ласковый русалочий голосок, догадывается, что близко где-то молодая бабенка соблазняет его, но не знает, на что решиться.

Два чувства борются в нем. На крючке, может быть, уже сидит долгожданный черный лещ и сосет приманку в ожидании, когда его вытащат на свет Божий; а позади деда, быть может, подплыла голенькая такая молодушка... язви ее в душу и печенки...

– Обернешься – а как, лешща-то упустишь? Но обернешься – бабочка-то уплывет, не дождавшись... и не увидишь ее. Вот беда, прости Ты Господи!

Акуля, видя, что дед не обращает на нее внимания, ныряет глубоко под самую лодку деду и неожиданно появляется перед его узенькими глазками возле лещевого поплавка, на который уставился дед Лысань.

– Тю, тю, на тебя! – Не на шутку перепугался дед. Но разглядев веселое, улыбающееся ему женское личико, вытянул свою нижнюю губу и сощурил глазки.

Акуля, работая под водой сильными ногами, держалась в ней вертикально, то окунаясь по шею, то снова появляясь по грудь.

А дед уже ничего не видит перед собой, кроме крутых голых плеч и чего-то колышущегося между ними и соблазнительно плавающего на поверхности реки...

Но в этот самый момент Акуля вдруг вскрикнула так, что дел едва не выпустил из рук удилище. Она почувствовала, что что-то толкнуло ее с такой силой, что бабенка перевернулась, показав себя всю, и кинулась прочь от лодки, поднимая целую бурю брызг и волн.

Дедова лодка закачалась, поплавки неистово запрыгали, лески перепутались... Дед ругается, плюется, еще не понимая, что произошло, глядит на удаляющийся загорелый таз уплывающей от него жалмерки.

* * *

Принимая во внимание все происходившее на поверхности реки, можно приблизительно предположить, что произошло тогда под ее поверхностью.

А произошло, по-видимому, как раз то, что всю свою рыбацкую жизнь ожидал так дед Лысань. Большой черный лещ подплыл к жирной приманке и потрогав ее, соблазнился, взял ее в рот и, пососав, уже было решил проглотить перед отходом ко сну, как заметил вблизи какие-то не рыбы движения незнакомого двуногого существа с крутыми ляжками, с толстыми икрами.

Как все живое, лещ очень любопытен и немедленно устремляется к интересующему его существу. Приблизившись, мгновенно втягивается в водоворот, образованный вращательными движениями сильных Акулькиных ног, налетает на нее, испугавшись, шарахается в сторону и немедленно напарывается на сомовый крюк своим нежным животиком. Поплавок погружается в воду и дает знать рыбаку, что надо тащить или подсекать.

Но дед Лысань заметил это лишь тогда, когда его узенькие глазки уже перестали различать подробности акулькиного тела, уплывавшего к берегу.

– Ой не могу! Девоньки! Ой, не могу, бабочки! Ой, смертушка моя! Какая-то животная прямо мне под брюхо. Ой, не могу. Напугалась!

Бабы и девки в страхе повыскакивали голыми на берег, уже не разбирая, видит их кто или не видит. Они обступили кричащую Акульку, все еще повторяющую:

– Ой, девки, не могу! Ой, бабоньки, родненькие! Какая-то животная... прямо мне вот сюды! Ей Бо... не вру!

* * *

В то время, когда на берегу происходил этот переполох, дед Лысань тоже подъехал к берегу на своей плоскодонке. Он сидел спиной к толпе, собравшейся на берегу, теперь уже состоящей и из приехавших на водопой казаков на низеньких забайкалках. Маленькие лошадки тянулись к воде, таща на себе здоровенных дядей, подбиравших длинные ноги.

Когда казаки увидели подъезжавшего Лысаня, они на конях обступили его лодку, заметив на дне ее огромную, невиданную ими до сих пор рыбу. Рыба смирехонько лежала плашмя на грязном, покрытом речным илом дне и не шевелилась.

– Да ты, паря, видать знаменитый и, верно, рыбак. Гляди, каку рыбину подцапил.

Услышав про редкостную рыбу, бабы потеряли интерес к Акульке, сами успокоились и тоже окружили лодку. Некоторые зашли даже со стороны глубины, чтоб лучше ее рассмотреть.

Деду бы теперь как раз отправиться в кабак и отнести туда рыбу, напиться бы ханшину и пойти спать в свою землянку, так сказать, в звании чемпиона по рыболовству по Уссури. Но все испортила дедовская страсть к бабенкам.

Увидев такое количество женского пола около себя, дед потерял окончательно самообладание. Да и как не потерять, когда возле самого его носа, так вкусно пахло свежим, только что вымытым в воде молодым телом, и столько полураздетых бабенок дышали теплом на его лысину. Дед не видел ни казаков, ни даже своего леща. А тут еще подошла оставленная без внимания Акулька и, по этому случаю уже пришедшая в себя и по своей привычке, не одетая на берегу как следует, наклонилась над рыбой.

– Вот энтая зверина и ткнула меня вот... – Опять начала было Акуля с целью возвратиться к себе прежнее внимание. Но теперь она была уже не интересна никому. Все рассматривали черного леща.

– Да как же его исть-то такого черного, весь упачкаешься, – задавались вокруг хозяйственные, практические вопросы.

Дед чувствовал себя героем дня, и потому молчал, крутя цыгарку из предложенного кем-то куска бумажки. Бумага в поселке была редкая вещь и получение ее для курения означало многое: на деда Лысаня смотрели, как на известность.

Но пока дед Лысань раскуривал цыгарку, Акуля встала как раз против него, наклонясь, чтоб ближе рассмотреть черного леща, а, может быть, и по другим женским соображениям, так как дед вдруг увидел в распахнувшийся прорез ее рубахи то, чего он не успел разглядеть там на середине реки.

Он вынул цыгарку изо рта и инстинктивно потянулся к Акуле, толкнув лодку. Лещ, в это время лежавший спокойно, неожиданно оттолкнулся слегка присохшим к низкому борту лодки хвостом, дававшим ему основательную опору в его маневре, и перемахнул через борт, воспользовавшись толчком, побрызгав Акулю. Акулька снова запсиховала, но теперь уже ни дед, ни казаки, ни бабы не обращали на нее внимания.

– Держи! Держи! Уйдет животная!! – Кричал в отчаянии дед, кинувшись искать руками, под лодкой. Лысина его вспотела, на носу повисла крупная капля.

Дремавший на вышке казак проснулся и, удивленный, рассматривал манчжурский берег, ища видно там того, кого нужно было держать.

А последний солнечный луч опускался все ниже и ниже. Скользнул в последний раз по порозовевшей степи за рекой, по розовым уткам и розовому озеру, по прибрежным тальникам, порозовив на прощание и их, и блеснул насмешливо на вспотевшей дединой лысине...

В сумерках, подойдя к своей землянке, дед Лысань увидел поджидавшую его с мешком Акулю. Узнав виновницу его сегодняшних бед и даже позора, так как зная, что казачки, наверно, уже размазывают про его неудачу в поселковом кабаке и хохочут, надрывая рты, дед так рывкнул на бабу, что та, кинувшись от него, только успела выговорить:

– Тебя, черта лысого не поймешь, чего тебе когда надоть.

Дед поднял хозяйственно оброненный Акулькой мешок, вошел в свою землянку.

Над поселком взошла луна. В избах засветились огоньки, река заблестела холодным плесом, в тайге стонала горленка.

«Русская мысль», Париж, 3 ноября 1954, № 707, с. 7.

У Лукоморья

Много лесов, озер и речушек в наших глухих краях. Много дичи, какой хотите, и водоплавающей птицы и лесной. Много рыбы в озерах. И охотнику, и рыболову большое раздолье. Лето, хотя и короткое, но жаркое, с дождями и ливнями, и грозами. Глушь там у нас вековая.

Но бывают, заглядывают и посетители. Дачниками их назвать нельзя, так как нет с ними ни чемоданов, ни нарядов, а привозят они с собой длинные удилища или двустволки и целыми днями рыскают вокруг озер.

И я когда-то, так же с удилищем в руках заехал в эту глушь, да так и остался там, очарованный природой, просторами, раздольем и тишиной и моими новыми друзьями, простыми, добрыми людьми, супругами Сухими.

Александр Владимирович, уездный врач, еще в молодости застрял там, да так привык, что потом и думать перестал о возвращении в город. Хирург он был замечательный, смелый, уверенный. Не одну сотню крестьян спас он от преждевременной смерти своими удачными хирургическими операциями. Внешностью обыкновенный интеллигентный тип нашей средне-северной полосы. С бородкой лопаточкой, прокуренными усами и постоянной усмешкой под ними.

Шутил ли он, или говорил серьезно, или даже спорил – всегда с добродушной усмешкой. Говорил прямо в глаза, был даже грубоват, и не было в нем этой степной хитрости. Прост был человек. И охотник заядлый.

Жена его, Ксения Ивановна, была уроженка этих мест, женщина уже немолодая, очень добрая и милая, с тем мягким выражением глаз, какое присуще только нашим северным женщинам – таким простым и открытым, что в присутствии ее и самому хочется быть добрее и скромнее.

В молодости она была, по-видимому, красива. Но теперь остались лишь прекрасные большие глаза и чарующая улыбка. Благодаря ее доброте, я прижился возле них в качестве бесшумного квартиранта и нахлебника.

Правда, на стол мы с Александром Владимировичем сами и продукты доставляли: он дичинку, а я рыбку. Водку изготавливали своими средствами из чистого спирта и называли ее в шутку: «Петр Смирнов у Чугунного моста».

У Ксении Ивановны всегда бесконечные запасы солений, копчений, сушений, разнообразных наливок, сладких и горьких, из наших лесных ягод и трав, различные мармеладки собственного ее изготовления, тоже всех цветов радуги и всевозможных вкусов.

Александр Владимирович, кроме всех своих качеств, был еще и прекрасным собеседником и всегда имел в запасе какой-нибудь смешной случай из своей или чужой жизни. Любил подшутить над молодежью и особенно смутить какую-нибудь молоденькую ее же ошибкой, а потом смеяться себе под усы.

В этот вечер сидели мы с ним на крыльце его дома и раздумывали, идти ли нам сейчас на озеро, каждому по своей специальности, или остаться дома. Что-то подозрительно потягивало сыростью с востока. В воздухе пахло дождем.

Чудесны были наши прогулки по озеру. Я сижу по обыкновению на излюбленном месте с удилищем и потягиваю понемногу и голавлей, и линей, и язей, а Александр Владимирович уйдет подальше и смешно мне, как он «попукивает» из своей двустволки. И возвращаемся домой всегда с добычей. И на ужин есть, и на обед завтра будет.

Вполне естественно, нам не хотелось, чтоб был дождь. Но дождь, наоборот, совсем недвусмысленно начал падать крупными каплями. Сначала застучал по крыше, а потом рассыпался горохом по пыльной улице.

Уйдя в дом, сели у окна и глядели тоскливо, словно дети, лишенные прогулки, на прыгающие, появляющиеся и исчезающие, пузырьки на лужах.

В самый разгар ливня, мимо окон прошмыгнули две пригнувшиеся фигуры, и сейчас же мы расслышали настойчивый стук в сенях. А через минуту на кухне, где хозяйничала Ксения Ивановна, уже громко разговаривали, смеялись, ахали, охали, кричали и стучали. А еще через минут пять Ксения Ивановна тащила из спальни одно из своих ситцевых платьев, нижнюю юбку, теплую шаль и ночные свои туфли.

К нам в комнату направила молодого человека, совершенно промокшего. Нам было поручено переодеть его.

Молодой человек и его молодая спутница были совершенно незнакомые люди. Но тогда не совсем исчез вековой дух русского гостеприимства, знакомый нам с детства и унаследованный от родителей.

Ксения Ивановна нам поручила самовар, а сама занялась столом. Дождь барабанил по крыше и не предвещал ничего хорошего. Стало уже темнеть и гостям предложили переночевать. Когда стол был готов, мы впятером уселись вокруг самовара, у стола, накрытого клетчатой скатертью. Беленький прозрачный графинчик кокетливо смотрелся в блестящее пузо самовара, а тот пыхтел на него сердито. Выпили по одной, по второй, а потом принялись за чай с малиновым вареньем. Так было решено Ксенией Ивановной, чтобы пригреть и просушить молодых гостей.

Гости оказались приезжими студентами Вуза на практику в наш уезд, теперь называемый по новому – районом.

Мы, люди старшего поколения и старого воспитания, конечно, во многом отличались от современной молодежи. Мы, по старой привычке, говорили обо всем. Молодежь была сдержаннее. Чтобы как-нибудь объединить всех, Александр Владимирович решил рассказать о случае из его жизни. Я знал много его рассказов, но этого не слышал.

«Вот так же, как и сегодня, отправился я на охоту на наше озеро. У нас там и лукоморье есть, и дуб над ним стоит. Все как по Пушкину. И русалки есть... Да, да, и русалки, вот слушайте! Вы, новая молодежь, ни во что не верите. А тогда, в дни моей молодости, русалки здесь еще водились. По крайней мере, я одну из них знаю.

«Шел я по берегу озера с ружьишкой и не заметил, как меня вдруг дождь накрыл! Это было давненько, когда я еще молодым врачом явился вот в эти края. Долго засиживаться не собирался, надеясь через годик-другой удрать в город. Как видите, село наше разбросано отдельными усадьбами по всей этой стороне озера. А тогда домишки стояли еще реже. А нашего домика тогда еще не было. Тут стоял деревянный стол, под большой сосной, а далее тянулись кустарники, малинник и еще стояли столы. В них крестьяне складывали отмолочные снопы, сено и вообще что придется. Иногда эти столы подолгу стояли пустые и вообще, когда не запирались, служила прикрытием от дождя для рыбаков, охотников и редких дачников. Охотиться ходили туда – вот к этим домам. Их тогда еще и не было. Рыбу ловили в озере, там же и купались почти открыто. Лезли в воду, “как мать родила”. Никаких там трусиков, купальников, бюстгальтеров не знали. И так как никто не скрывался, то никто и не подглядывал.

«Ну, это я только так, к слову. А мой рассказ о другом будет. Так вот. Пошел я на бекасов... Они и теперь мне покоя не дают. Настрелялся на них вдоволь и уже возвращался в село, как неожиданно накрыл меня дождь. Ливень. Да так накрыл, что через минуту я был мокр, какмышь. А уж у нас тут так: как солнышко скрылось, так и холодно, а в дождь и особенно.

«Бросился я бежать от дождя и влетел в стол. Кинул на землю ягдташ, прислонил ружье и принялся торопливо раздеваться, надеясь выжать и подветрить немного одежду, ну и дождь переждать заодно.

«На охоту надевал более уж старенькое, иногда латаное. Помню, рубаха нижняя едва прикрывала необходимое. Снял я с себя все, только рубаху оставил. Боялся, что кто-нибудь из крестьян забежит в стодол. Все-таки – уездный врач, неудобно. И вот по всем стенам появились новые украшения в виде моего белья и предметов одежды. Сам же я сел на обрубок и только собрался закурить, как дверь в стодол неожиданно стремительно открылась и в стодол влетела женщина... Совершенно голая! Только в одном кулачке у нее был зажат какой-то цветной комочек.

«Она ланью промчалась мимо меня и остановилась в дальнем углу стодола, не закрыв за собой дверь. Дождь и ветер вмиг ворвались в стодол и, нанесли столько холода, что я инстинктивно бросился к дверям, чтобы их закрыть, забыв про свой костюм, если вообще можно было так назвать мое убогое одеяние.

«Закрыв дверь, я невольно взглянул на женщину, и понял весь ужас моего положения. Насколько она выигрывала в своей наготе – молодой, стройной девушки с упругими формами и прекрасными длинными волосами, распущенными до колен и прикрывавшими ее, настолько проигрывал я в костюме полуадама. И до сих пор считаю, что нет для мужчин более нелепого вида, как оказаться перед женщиной, да еще молодой, в одной короткой рубахе. Лучше уж быть совсем голым. Я хотя и не имею геркулесовых форм, но все же был молод и силен. Пока я предавался своим размышлениям, я вдруг услышал:

– Ради Бога, не смотрите на меня. И... пожалуйста, оденьтесь... Это же невыносимо, наконец!

«Я понял по речи ее, что это была не простая деревенская девушка, и решил, что это приезжая дачница-купальщица, попавшая неожиданно под дождь. Но меня даже немного рассердило ее утверждение в том, что в моем костюме было невыносимо оставаться, а ей в ее – выносимо. Но самое главное было то, что я не мог выполнить ее просьбу, так как мои невыразимые висели над ее головой. Что и подтвердилось немедленно. Так как, едва я тронулся с места, как моя незнакомка завизжала страшным голосом:

– Не подходите ко мне! Я буду кричать!..

«Тут только я заметил ее прекрасные глаза, нежный цвет лица с румянцем и ту мягкую миловидность северной нашей женщины, глядя на которую самому хочется быть скромным. Но я сделал больше... Я влюбился в нее с первого взгляда. Проклинал судьбу, что она представила меня этой чудной девушке в таком невыгодном для меня виде. И не знал, как мне поступить и что предпринять. Девушка определенно требовала, чтобы я оделся, и в то же время не разрешала мне сдвинуться с места.

«Но в этот миг новый порыв ветра ворвался в стодол, открыв настежь двери. Холод мгновенно охватил меня.

– Двери! Двери закройте! Оденетесь ли вы, наконец, сюда могут зайти! – кричала девушка.

«И я понял, что уже не в силах ни в чем отказать ей. Я был влюблен по уши и бросился исполнять ее приказание, как тот юный паж, бросился в пучину по капризу принцессы за брошенным ею кубком.

«О том, как я был хорош в этот момент, я не думал. Рванул дверь к себе и придавил палец, сунул его в рот, прыгая на одной ноге и тряся больной рукой. Теперь мне было все равно. Мне жаль было пальца – ведь я был хирург...

«Но в этот же миг девушка промчалась мимо, вон из стодола, потеряв, видимо, всякую надежду видеть меня прилично одетым. Тут только я пришел в себя и понял, какое счастье я теряю. Мигот оделся как попало, схватил в охапку ружье и патронташ с ягдташем и тоже выбежал из стодола в надежде еще догнать мою русалку. Дождь уже перестал, оставив довершать дело ветру.

«И вот вдали, у озера, я увидел девушку, медленно натягивавшую на себя мокрое платье. Эта операция плохо ей удавалась, и она долго оставалась прикрытой с головой лишь до пояса. Я направился в ее сторону, тоже приводя себя в порядок и прихорашиваясь, как селезень. Но лишь только девушка заметила меня, она рывком натянула на себя мокрое платье и бросилась убежать от меня. И мгновенно скрылась в другом стоделе»...

Александр Владимирович остановился и лишь добавил: «Видите, как тут у нас. И лукоморье есть, и русалки водятся».

Потом он налил мужчинам по рюмке водки и стал рыться вилкой в соленых груздях. Копался он так долго, что наша молоденькая знакомая не выдержала, видимо, стора от любопытства, и спросила:

– И все?

– Все... А вы что бы еще хотели? – спросил в свою очередь Александр Владимирович, строго глядя из-под бровей на свою гостью.

– Ну... там... я думала... мне казалось... что-нибудь интересное... Ну, например... Да я не знаю... ну, что-нибудь такое...

– Чего же вам еще хотелось бы такого?..

Молодая гостья, видимо, окончательно смутилась и растерянно теребила конец скатерти. Но потом освоилась и проговорила быстро:

– Вы... какой-то неприемчивый... странный какой-то!!!

Но на выручку ей пришла Ксения Ивановна. Она все время молчала, лишь улыбалась. Когда разговор кончился, она встала из-за стола и ушла в спальню. Вскоре возвратилась с аккуратной плоской коробкой, перевязанной в трех местах розовой ленточкой. Вынула осторожно перехваченную в нескольких местах узенькими шнурочками длинную каштановую косу. И, встряхнув ее, как это делают продавцы мехов, приложила к своему затылку.

– Отрезала, так как боялась, что под старость вылезет... – сказала она.

Молодая гостья с видимой завистью рассматривала чудную косу, а ее спутник, выпив уже изрядно, расхрабрился и сказал:

– А знаете, как теперь переделали пушкинское «Лукоморье»? И он продекламировал:

У Лукоморья дом срубили,
Златую цепь в Торгсин снесли.
Кота на мясо изрубили.
Русалку паспорта лишили.

А...

– Т-с-с! Ти-шше! – и Александр Владимирович приложил комично палец к губам.

Потом добавил:

– Леший услышит!..

И налил всем еще по одной...

«Русская мысль», Париж, 22 июля 1953, № 573, с. 6.

«Гунибы»

Из жизни сотни казаков-юнкеров Николаевского кавалерийского училища

В 1888 г. по инициативе Начальника Николаевского кавалерийского училища ген. Бильдерлинга при существовавшем уже Эскадроне (Школа Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров) была сформирована казачья сотня для молодых людей казачьего происхождения всех Российских казачьих Войск.

До этого в России были три казачьих юнкерских училища: Ставропольское, Оренбургское и Новочеркасское. Кроме того, казачье отделение при пехотном Иркутском и при Елисаветградском кавалерийском училище.

Целью создания объединенного училища было сближение кавалерийских и казачьих офицеров еще со школьной скамьи для совместной потом службы, в общих дивизиях.

Строевой, дисциплинарный и прочие уставы были общие, но эскадрон еще со времени существования «Школы Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» имел свои крепкие, сложившиеся за 100 лет почти, традиции.

«Школа Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» дала целые сотни выпущенных из ее стен офицеров. Из этой же школы вышли и такие известности, как поэт Лермонтов, композитор Мусоргский, известный географ и путешественник по Туркестану Семенов-Тяньшанский и много других.

«Славная школа», как ее до самого печального ее конца называли юнкера Николаевцы, давала не только по обывательски оцениваемых «шалопаяв», подобных которым было немало во всех учебных заведениях Запада и Востока и даже в Университетах, но и прекрасных, честных, храбрых, беззаветно преданных родине и присяге энтузиастов кавалерийского военного дела.

«Николаевцы» умели и шалить, и кутить, и работать, и умирать с честью за Родину. В истории «Славной школы» сотни погибших в боях на всех окраинах огромного государства, имена коих покоились на черных мраморных досках в храме училища.

Острокрылый Николаевский орел с вытянутыми в стороны крыльями почти век благословлял заветный для многих молодых людей широкий подъезд парадного входа. Каждый кадет-казак мечтал попасть именно в Николаевское училище, куда кадеты принимались по конкурсу.

Прочие казачьи юнкерские училища несколько не хуже, быть может, были и Николаевского, но в виду их провинциального положения попасть в Николаевское считалось более заманчивым. Во-первых – столица, где состав преподавателей был столичный, резиденция Императора, столичные театры, столичные знакомства и возможности выхода в гвардию.

Делясь на казаков и драгун и помещаясь совершенно отдельно, юнкера училища в классах, в шутку называемых «капонирами» (крепостными убежищами), известными юнкерами из курса фортификации, проводили вместе половину трудового дня, незаметно сближаясь, проходя военные и общеобразовательные науки.

Каково происхождение столь странного названия «Гунибы» – сказать трудно. Возможно, что кличка эта родилась бессознательно, неожиданно вырвавшись на волю с задорного язычка и оставшаяся висеть в воздухе. Во всяком случае «кличка» эта была шуточная и не постоянная и приложенная автором, лишь как название повести.

Юнкера-казаки, окончившие «Славную школу», самого специфического, т. е. «цука», не попробовали. «Цука», с которым боролось начальство и который именно и привлекал моло-

дых людей, алчущих и жаждущих кавалерийской правды и стать настоящими кавалерийскими офицерами.

Кавалерийский эскадрон пополнялся не всегда кадетами, в нем было не мало гимназистов, реалистов и так же молодых людей с так называемым «домашним образованием» и потому, чтоб «обломать» их, в помощь уставу, само собой ввелась традиция так называемого «цука», ставшая подчас даже строже самого устава.

И горе тому, кто, выбрав себе дорогу кавалериста, решился бы пренебречь этой традицией и не подчиниться ей. Он немедленно морально изгонялся из среды юнкеров и подвергался остракизму. И нужно было иметь огромную силу воли и твердое убеждение в своей правоте, упорство и риск, чтоб в течение двух лет быть ежедневно одиноким, в то время, когда молодой возраст так жаждет дружбы и товарищества, совместных шалостей и возможности поделиться личными молодыми переживаниями и горем, оторванный подчас на год, или два от семьи.

Такие были единицы и то не каждый год. Сила «цука» была настолько велика, что юнкер предпочитал сесть под арест или даже быть переведенным в низший разряд и исключенным, чем пойти против традиции.

«Славная школа» для юнкеров была храм, орден, входя в который посвященный уже принадлежала не себе, а лишь только кавалерии.

Иногда в «Школе» учились и Вел. Князья и можно без ошибки сказать, что если они быть может и не подвергались «приседаниям» со стороны какого-нибудь «майора», «полковника» или «генерала», то уже на 180 градусов-то наверно вертелись где-нибудь в закоулке, недоступном всевидящему оку начальства.

В казачьей сотне не было этого «пука», да его и не было нужно, так как большинство казаков до этого учились в Корпусах и были вполне подготовлены к настоящей дисциплине.

Этот «цук» и делил молодых юнкеров на две части: эскадрон и сотню. И потому юнкер-казак не может себя считать окончившим «Славную школу», а лишь «Лихую и Славную Сотню» Юнкеров Николаевского кавалерийского училища, коей я с любовью и братским поклоном и посвящаю отрывки воспоминаний.

* * *

Выйдя из вагона третьего класса на перрон Николаевского столичного вокзала, Кеша Аргунов, кадет провинциального кадетского корпуса, долго отковыривал двум молоденьким девицам, направившимся налево от вокзала в направлении к Лиговке.

Выйдя на площадь перед вокзалом, он был немного ошеломлен непривычным шумом огромного города, грохотом экипажей по булыжной мостовой, шумом промчавшегося прямо по улице паровоза с небольшими вагончиками с каким-то ржавым скрежетом по направлению к Старому Невскому, пока не был окружен бородатыми дядями, кричавшими ему:

– Рублевка, куда прикажете, Ваш-сясь!

Взяв первого попавшегося, Кеша сел на выпяченные старые пружины сиденья и, поправив пехотный штык в лакированных ножнах, приказал извозчику ехать на Новопетергофский проспект.

– Да он Вас перекинет! Ваш-сясь! – кричали вдогонку оставшиеся без заработка своему конкуренту, нахлестывавшему тем временем свою клячу кнутом и ерзавшему на своем сидении с таким старанием, будто он-то и был самой главной двигательной силой своего выезда.

Пустынный Обводный канал не радовал новоприезжего своим запущенным видом, огромными многоэтажными домами, множеством вывесок в нижних этажах всевозможных пивных, лабазов и распивочных, подозрительных на вид гостиниц, столовок и лавок. Кеше невольно вспомнился свой родной городок в Сибири с маленькими домиками, уютными садиками возле них, высокими деревянными тротуарами и заборами, крашенными деревянными

воротами, запиравшимися чуть ли не с полудня зимой, городской сад с полковой музыкой по праздникам, местная женская гимназия, гимназистки, сестра Женя и Верочка, которую он оставил под клятвы в верности и обещания жениться по окончании училища.

В воспоминаниях он и не заметил, как извозчик подъехал к высокой железной решетке, напоминающей ряд пик, поставленных вертикально, и остановил свою клячу.

– Лошадка-то сама остановилась, Ваш-сясь. Здесь куплена – знала, – сказал извозчик, поворачивая к седоку свою бороду и приподнимая картуз над головой.

Кеша протянул желтенький бумажный рубль, боясь, чтоб извозчик его не выругал, и поспешил к воротам.

Но к его удивлению тот с необыкновенной легкостью вскочил на подножку с зажатым между пальцами рублем и принялся нахлестывать свою лошадь с такой яростью, что бедная сначала присела, потом рванулась вперед, вытянулась, словно она хотела именно, как говорится, вылезти из кожи, и, наконец, каким-то собачьим скоком перешла в галоп и остановилась у ближайшей пивной, куда ее владелец немедленно исчез. Лошадь опустила голову почти до земли, развесила уши и очевидно заснула от усталости.

Кеша же вошел во двор. Сидевший там у ворот привратник в длинном архалуке с красными отворотами на руках небрежно показал ему за свою спину большим пальцем и отвернулся.

Направившись по скверу в направлении, указанном привратником, Кеша увидел широкий барский подъезд с несколькими ступеньками и на них скучающего молодого человека в драгунской форме, покручивающего свои черные усики.

Обливаясь потом, Кеша медленно приближался, волоча свои вещи. Молодой человек рассматривал его, как посетитель зоологического сада рассматривает какого-нибудь невиданного им зверя.

– Вы Ку-ю-ю-д-а!? – Спросил он Кешу.

– В сотню, – ответил Кеша.

Молодой человек с усиками немедленно потерял к нему всякий интерес и, отвернувшись, занялся снова своими усиками. Кеша поднимался на крыльцо, когда от ворот отделилась стройная фигурка с настоящей шашкой на белой португее длинной кавалерийской шинели черного цвета.

Молодой человек с усиками, увидев ее, напрягся, как породистый сеттер перед перепелом, и лицо его просияло довольной улыбкой. От ворот без багажа шел хорошенький мальчик и Кеша обратил внимание, что он устремил свой взор на молодого человека с усиками как-то странно, словно кролик, загипнотизированный удавом. Глазки его светились радостью, он улыбался и всем своим видом демонстрировал свое полное счастье.

– Кадет Николаевского кадетского корпуса. Кадеты из него выходили почти все в Николаевское кавалерийское училище, в его «Славную Школу» – эскадрон, – вспомнил Кеша. Это была уже настоящая дичь для скучающего молодого человека с усиками, очевидно оставленного без отпуска и принадлежащего к высокому рангу «майоров», «полковников» и «генералов», в зависимости от более или менее продолжительного и усидчивого прохождения курса училища от одного до четырех лет.

Так второгодник первого курса курилкой эскадрона производится в майоры; второгодник второго – в полковники; майор, перешедший на старший курс, делается полковником, и, наконец, пробывший четыре года в училище – генералом – в то время, как нормально прошедшие двухгодичный курс училища считались на бумаге «корнетами», в сотне «хорунжими». Первокурсники, еще не засевшие за парту, назывались «зверями».

Вот такой будущий «зверь» и приближался теперь к молодому человеку с усиками. По его лаконической, выразившейся в прищелкивании пальцами, как кастаньетами, команде, кадетик начал приседать по всем правилам гимнастики и вращаться на 180 градусов. При этом лицо

кадетика выражало такое блаженство, что его переживаниям позавидовала бы любая институтка.

Кеша раскрыл рот и застыл в такой позе. Ничего подобного он еще не видал в своей короткой жизни.

Но вот в дверях фойе вдруг появилась блестящая тень, и молодой человек с усиками исчез – растаял, как дым. Перед высоким генералом предстали два кадета разных корпусов и отрапортовали о своем прибытии в училище.

* * *

Полный первых впечатлений, Кеша поднимался по широкой, устланной красным ковром, лестнице на третий этаж, в «голубятню», куда его направил вышедший на подъезд стройный высокий казачий офицер.

Все для Кеша было ново и все поражало его. Все было не так, как в корпусе. Мраморные доски с именами отлично окончивших училище, красивая площадка с роялем, высокие окна с занавесками, белые колонны, подпирающие следующий этаж, куда направлялся Кеша.

Но на этом этаже все было много скромнее. Потолки были ниже, окна и двери тоже. Был, правда, как и внизу, паркет и рояль, но отдавало казармой. У рояля дремал юнкер, опершись головой на ладонь. К нему и направился Кеша.

Узнав в нем своего однокашника по корпусу, Кеша было кинулся к нему с объятиями, но юнкер строго одернул его и приказал отрапортовать ему, как полагается.

– Потрудитесь сначала явиться мне! – сказал он.

Растерявшийся Кеша начал лепетать что-то невразумительное вроде того, что он слышал, когда представлялся молодому человеку с усиками кадет Николаевского корпуса:

– Сугубый, хвостатый, немытый, нечесанный, небритый зверь...

– Хватит! Здравствуй! – проговорил юнкер. – Здесь этого не полагается. Вот отправляйся немедленно к Николаю в цейнгауз и сдай свое обмундирование и эту пакость, – прибавил он, указывая на штык в лакированных ножнах.

Только вчера Кеша приводил в восторг своих спутниц по поезду видом этого штыка и вдруг эта гордость кадета оказалась пакостью, которую нужно небрежно сдать каптенармусу.

Кеша направился по коридору к светившемуся в сумерках далекому окну. Проходя мимо помещения второго взвода, он услышал доносившуюся оттуда грустную казачью песню, все о том же, о казачьей доле, о его верной, а подчас и совсем неверной подруге жизни в станице, оставленной, уходя в поход, на войну или на маневры. О доле казачки, оставшейся без мужа, жениха или сына. Тяжела доля русской деревенской женщины, заброшенной в широких просторах полей, лесов и гор. Но еще горше доля казачки, несшей на своих плечах весь домашний труд часто без мужчины, без хозяина и нередко и защищавшей станицу или хутор от насильников.

Невольно вспомнилась Кеше родная станица, оставленные мать, сестра и Верочка...

* * *

Пели двое: бас и тенор. Выходило хорошо. Кеша прошел дальше по длинному коридору. В плохо освещенном тусклым петербургским солнцем помещении двигались какие-то тени, полуодетые или почти голые, оказавшиеся мальчиками, переодевавшими свое кадетское обмундирование и менявшими его на новое юнкерское, более привлекательное и видом и своим назначением, таким заманчивым: стать юнкером Николаевского кавалерийского училища!

Седой коренастый, с николаевскими бакенбардами, кавалерийский вахмистр спокойно священнодействовал среди них, бросая то одному, то другому или пару белья, или штанов с лампасами, или пару кавалерийских сапог. Он ловко нахлобучивал на стриженую голову папаху с синим верхом или с красным, малиновым, желтым. Выдавал настоящие казачьи шашки с грубыми ременными портупьями.

Кеше бросилось в глаза, что этот Николай, проходя позади какого-нибудь новоиспеченного юнкера, высоко приподнимал свои ноги, словно перешагивал через что-то. Как потом оказалось, он тоже придерживался училищных традиций, переступая через невидимый, но, безусловно, существовавший у «зверей» хвост.

Особенно привело в уныние Кешу, когда Николай принял от него кадетский штык с таким видом, будто он держал двумя пальцами дохлую гадюку, но через час Кеша вышел из цейхгауза совершенно перемененный по форме, с настоящей отточенной казачьей шашкой, в сапогах со всунутыми в них казачьими штанами с лампасами. По росту Кеша тем же Николаем был определен во второй взвод.

* * *

В помещении второго взвода он получил первое замечание от юнкера-вахмистра. Это было его первое крещение. Замечание он получил за неотдание чести. Вахмистр – ловкий, подтянутый кубанец в полной форме своего Кубанского Войска, произвел на Кешу необычайное впечатление.

Настоящая боевая форма, увешанная оружием, с гозырями, набитыми настоящими патронами от винтовки, все это вызвало зависть у Кешы к молодому человеку, принадлежавшему к старинному, славному боевому Кубанскому Войску, потомку древних Запорожцев и покрывшему свои знамена славой в боях при «усмирении» Кавказа.

В помещении взвода уже расположились по койкам будущие Кешины друзья. Они разместились маленькими группками и тихо разговаривали, боясь нарушить пение и получить замечание от какого-нибудь «хорунжего», настроенного «цукательски». Тут же Кеша получил и настоящую трехлинейную винтовку образца 1891 года.

Через узенький проход рядом с ним оказался молодой мальчик с девичьим хорошеньким личиком, стройный как камыш, немного заикающийся Коля Шамшев.

С другой стороны – хмурый и гордый на вид полуказак, полугорец Зигоев, дальше сибиряк Солнцев с сосредоточенным лицом и пытливыми глазами; потом тонкий, как лоза, кубанец Романцев, Чулошников – оренбуржец с кокетливым чубчиком, видимо не ожидавший, что завтра же этот чубчик будет безжалостно срезан тем же Николаем по приказу Командира сотни сурового «Шакала», как звал его весь юнкерский мир Петербурга.

Далее немного – калмыковатый уралец Акутин, забайкалец Кеша Кобылкин, уссуриец Борис Курбатов, оренбуржец Михайлов, амурец Вертопрахов, астраханец Догадин, семиречи: Волков и Русанов, и так далее до самых дверей 30 молодых ребят, приехавших в числе 100 человек со всех окраин необъятной России.

Пройдет два года, и все они, как молодые соколы, разлетятся во все стороны Российских окраин до самых далеких границ, от Польши и Пруссии, Галиции и Румынии, Персии и Турции, Афганистана и Китая, Монголии, и Кореи, и Манчжурии, по глухим стоянкам, заброшенным в степях, песках, горах и лесах, в безводных пустынях Туркестана, в кишлаках, кибитках, в еврейских местечках Польши и Украины и лесах Амура и Усури.

Все еще душой кадеты, они делятся своими первыми впечатлениями и переживаниями от нового; делятся воспоминаниями о доме, еще таком близком, но уже отдаленном расстоянием, о станицах, родных и о потерянном навсегда детстве и его радостях, говорят о беспокой-

стве на новой службе и предстоящей жизни в училище, новой дисциплине, мало похожей на кадетскую, и о прочих своих делах.

Прощай, детство! Здравствуй, юность, военная, суровая. Настоящая служба Царю и Отечеству и родному Войску...

* * *

По обширному плацу, втиснутому между переулком и каким-то складом Обводного канала, напротив Училища Принца Ольденбургского, за высоким забором скрытому от глаз прохожих, но вполне доступному для обозревателей верхних этажей большого пятиэтажного дома, построены тридцать неоседланных лошадей, покрытых только попонками, перетянутыми троками.

Это «смена», расчет юнкеров для строевых занятий. В училище два подразделения: по сменам и сотенному строю. По этому сотня делится на взводы и смены. Взводами живут, идут обедать, строятся на проверку и сотенные учения. Сменами проходят все науки, как физические, так и классные. Таким образом, каждый юнкер имеет над собой двух начальников офицеров и двух взводных портупей-юнкеров.

Нет ничего легче на военной службе, как командовать посвятившими себя военному образованию добровольно и добивающимися офицерских погон.

Молодой трубач из музыкантской команды Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка, прикомандированный к училищу, так определил юнкерское положение:

«Да штоб мне, ради энтых погонов так да убиваться, как вы, господа юнкера, убиваетесь с утра до ночи два года... Неохотой, известно, приходится, а вы, ведь, по воле влезли в ее...».

На плацу смена ожидает своего сменного офицера сотника Солдатова, коренастого крепыща и потому прозванного юнкерами «Пупырем». Голос у него хриплый от чрезмерного употребления спиртных напитков. Он только еще прикомандирован к училищу. Юнкера пока что рассматривают своих лошадей, стоящих против них. И прикидывают, какая из них кому попадет.

На младшем курсе нет постоянных лошадей. Юнкер младшего курса проходит обучение каждый день на другой лошади. Поэтому лошади младшего курса были одновременно и несчастными существами, вынужденными подчиняться неопытным седокам, и потому многие из них были задерганы и зацуканы, как говорят кавалеристы.

На плацу появился сменный офицер. Он отдал команду к посадке и юнкера «кто во что горазд» полезли на коней.

Пока смена двигалась шагом, все по внешности шло как будто хорошо. Сотник стоял посреди плаца с цирковым кнутом в руке и скучающе рассматривал лежащих бюстами на подоконниках девиц верхних этажей переулка, покручивая свой реденький ус. Юнкера тоже бодро посматривали на них снизу, и не один чувствовал себя лихим наездником или еще больше – джигитом. Лошади мирно пофыркивали и мотали головами, «просили» повод у всадника-неука, слишком его затягивавшего, сами держали обычную привычную им дистанцию и любезно крутили хвостами.

Сотник посмотрел на небо и, напыжившись, пропел:

– Р-р-ы-с-с-ь-ю... м а р ш!!

Для поднятия духа у лошадей и всадников он бодро взмахнул цирковым кнутом, и смена затрусила, екая конскими боками, селезенками, издавая всевозможные дополнительные звуки, входящие в постоянную программу верховой езды, основательно музыкальную, но мало похожую на симфонический концерт. Ближе эта музыка современному джазу.

Под эту-то музыку и началась «царская службица» юнкеров младшего курса.

Конечно, первой начала страдать та часть человеческого тела, которой достается с малых лет. Многие хитрецы стали переезжать с крупа на холку или наоборот, с холки на круп и далее к хвосту, в поисках более мягкого места. Кто свешивался на бок в поисках опоры в воздухе и, не найдя ее, возвращался на место. Кое-кто мужественно переносил удары судьбы по мягкому месту, удары, которые можно было сравнить только с ударами молота о наковальню.

Уссурийцу Курбатову попала лошадь по прозвищу «Дымчатый». Этот мерин должен войти в историю сотни Николаевского кавалерийского училища, как самая каверзная лошадка, вернее инструмент для инквизиции. Эта лошадь по чьей-то прихоти, прослужив свой срок в училище, не была забракована. Она давно потеряла аллюр, моталась, как расхлябанная балагула во все стороны света белого, подбрасывая несчастного седока то вверх, то в стороны, без всякого предупреждения, так что седок не мог никак приноровиться к ней.

Курбатов мужественно сидел на ней и ездил по кругу то вперед, то назад в поисках подходящего места, но везде находил только острые кости, словно рифы, торчащие из-под воды.

Мягкие части Курбатова давно обратились в отбивную котлету, по ногам текли ручейки крови, из глаз ручьи слез. Железный хребет «Дымчатого» был остер, как тупой нож. Сначала было больно только там, где полагалось, но потом, когда каверзная лошадка, или устав или по старости, начала мотать своим брюхом в разные стороны, как жеребая верблюдица, силы едва не покинули бедного юнкера.

Но на его счастье один из страдальцев сполз с лошади и, не вынеся мучений, отрапортовал было сотнику:

– Господин сотник, разрешите подать рапорт о переводе в пехот...

Но не договорил. Сотник, видимо оскорбленный в самых лучших своих чувствах, так взревел на него и так грозно взмахнул своим цирковым кнутом, что несчастный наверно даже не помнил, как он снова оказался на лошади.

Курбатову этот номер придал бодрости и он доездил весь урок в полтора часа истязаний.

Оба юнкера оказались впоследствии одними из лучших ездоков, а просившийся в пехоту окончил с отличием по езде.

* * *

После езды обед. Аппетит волчий. Но и здесь молодых людей подстерегала каверза.

Опять та же традиция. Садись за столы по расчету восемь человек на стол, по четыре на каждую сторону. Раздатчик сидел девятым на короткой стороне стола. Пища подавалась каждый день с противоположных коротких сторон стола. Раздатчик клал ближайшему, сколько тот просил. Так же второму, но третьему уже оставалось немного, а четвертому часто – ничего. На другой день то же самое, но с другого конца, так что «золотая середина» всегда оставалась полуголодная.

На счастье расчет по столам был непостоянен, так как ежедневно были всевозможные изменения: или кто-нибудь выбывал, или наоборот приходил и потому «паника», т. е. вышеописанное явление не могло обрушиваться на одних и тех же. Но все равно это было возмутительно, и в эскадроне такого порядка не существовало.

Действительно, те, кому не попадало ничего в тарелку, подвергались панике. Каково голодному желудку прыгать и скакать целый день с пустотой внутри! Конечно, «панике» подвергались только так называемые рассыпные блюда и гарнир к порциям. Порционные же блюда не подвергались панике, но зато подвергался ей гарнир.

Нужно было протерпеть до вечера и потом бежать в юнкерскую столовку и там питаться за свой счет сосисками за шесть копеек, яйцами за ту же цену, булками и сладкими вещами.

Тут же происходили состязания на порцию чего-нибудь съестного. Прыгали через кобылину, ставя рекорды, кувыркались на параллельных брусьях и т. п. нелепости. Более умерен-

ные оставались во взводах или шли в «капониры», т. е. классы и зубрили предстоящий курс репетиции. После ужина собирались в зале и пели свои песни хором и плясали. Если юнкера сотни слишком увлекались, снизу из зала эскадрона иногда слышалось:

– Эй, вы там, гу-ни-бы, по-ти-ше!

Тогда сверху над эскадронской лестницей свешивали толстую казачью внушительную плеть.

Это называлось взаимным обменом любезностями.

* * *

Ожидаемый с нетерпением день принятия присяги, наконец, настал. Ждали его не потому, что хотелось скорее стать настоящим слугой Отечества, а более из желания вырваться из мрачных стен училища на свежий воздух, посмотреть город, так влекущий молодежь, и наконец, с надеждой найти знакомства и, хотя раз в неделю, быть свободным от команд, замечаний и риска быть наказанным.

После присяги все желающие были отпущены в отпуск. После двух месяцев «взаперти» первый отпуск просто туманил голову ароматом до сих пор недоступного для кадета, а теперь возможного. Можно было отправиться куда угодно, лишь бы в кармане что было. Мальчики сделались взрослыми.

Словно стая разноцветных птиц из клетки, вылетели юнкера-казаки и разлетелись в разные стороны от ворот училища. Желтый, красный, малиновый, синий верхи папах мелькали по Ново-Петергофскому проспекту. Перед каждым почти стоял вопрос: куда идти?

Юнкера эскадрона почти все имели кого-нибудь в столице, многие из них окончили в ней или корпус, или реальное училище, или гимназию и родители их жили в столице. Многие имели дальних и близких родственников, к которым они направились теперь показаться в невиданной красивой форме эскадрона училища. Кивер военно-учебного заведения, полосатый красно-черный пояс, брюки навывпуск с двойным генеральским лампасом и шпоры. «Эскадронцы» садились в наемные и собственные экипажи и, сверкая белыми перчатками, мчались по первопутку.

Ходить пешком по городу в эскадроне запрещала та же традиция, соблюдая которую, молодые люди добровольно и приседали и вращались перед «корнетами». Традиция не ходить пешком по городу, полному военных чинов в больших рангах, и также возможность нарваться на кого-нибудь из Великих Князей, особенно Бориса Владимировича, любителя подцукнуть юнкера, имела свое основание. По Невскому, например, «нижнему чину», к каковому принадлежали и юнкера, было просто немислимо пройти. На каждом шагу попадались офицеры гвардии, очень строгие, и особенно отставные генералы, которым от скуки нечего было делать и которым юнкера должны были становиться во «фронт».

А главная причина запрещения юнкерам ходить пешком по городу была та, что воспитанник Славной Школы Михаил Юрьевич Лермонтов не ходил пешком, а ездил в собственном экипаже, и «не ездил на трамвае». Поэтому юнкерам эскадрона было категорически запрещено ездить на вводившемся тогда впервые этом новом способе транспорта.

Казаки-юнкера, в большинстве дети бедных казачьих офицеров, не имели возможности пользоваться не только «лихачами», но и простыми извозчиками, получая гроши от родителей из провинции.

Также юнкера-казаки не имели собственного обмундирования и не могли блистать прекрасно сшитыми шинелями или мундирами. В эскадроне не только не запрещалось, а, наоборот, поощрялось иметь собственную одежду и выезд. Казаки-юнкера могли только сверкнуть лакированными сапогами, приобретенными в счет будущих благ, еще маячивших где-то в мыслях, в виде прогонных денег при отправке по производству в офицеры на далекую окраину.

* * *

В Училище Кеша с приятелем-донцом Максимовым пришли вовремя. В «дежурке» дежурный по училищу офицер принимал прибывающих из города юнкеров. Перед дежурной длинная очередь. Большие часы над входом в нее медленно передвигали свои длинные стрелки, приближая время к полуночи, крайнему сроку, до которого явившийся юнкер мог оставаться за дверьми дежурки.

Только успевшие проникнуть в нее до критического времени считались явившимися вовремя. Все пришедшие хотя и вовремя, но оставшиеся за пределами дежурки, все равно считались опоздавшими. Они автоматически лишались права на следующий отпуск, не считая прибавок от сменного своего офицера.

– Успеем попасть? – волновался Кеша, посматривая на двигающиеся, как ему казалось, с невероятной быстротой часовые стрелки. Но в дежурку они все-таки успели попасть, и за ними ловко проскочил маленький Догадин, шмыгнув где-то между ног у высокого уральца Толстова, не замеченный дежурным офицером.

Пройдя благополучно перед ним, строго осматривавшим каждого и проверявшим правильность формы одежды, четкость рапорта и точное отдавание чести при этом, приятели поднялись, наконец, наверх в свою голубятню.

Кеша немедленно, как только разделся и уложил свое белье на табуретку, уснул крепким сном. Ему уже снилась родная станица на отлогом песчаном берегу, и видел он себя с закаченными белыми летними кадетскими штанами по колено в реке, ловившего выюнов для насадки на крючки при ловле налимов. Тут же была и Верочка, немного неясная, словно виденье, и быстро превратившаяся в Любку, более реальную и ощутимую и много более понравившуюся Кеше. Кеша с теми же намерениями, что и днем, протянул к ней руки, но Верочка-Любка с такой силой толкнула его в бок, что Кеша проснулся. Открыв глаза и не понимая, куда девались девицы, он увидел Максимова в одном белье.

– Вставай, Аргунов, идет офицерский обход! – шептал он.

Кеша схватил свою одежду, но Максимов его остановил:

– Нельзя! Нужно стоять, как есть.

Как есть – это было, значит, в одной ночной рубахе с босыми ногами на холодном полу. Вся молодежь взвода стояла в таких костюмах, когда в дверях появлялась совершенно голая фигура мускулистого юнкера Асанова, но в полном боевом вооружении казака. Вынутая и поднятая «подвысь» обнаженная шашка с огарком, горевшим на ее кончике, сверкала начищенной сталью клинка и на ней настоящий офицерский серебряный темляк, юнкерский же кожаный пренебрежительно болтался внизу на таком месте, куда могла водрузить его только юнкерская фантазия...

Кеша видел, как донец Шамшев стыдливо опустил глаза и кусал губы от душившего его смеха. Румяный Завьялов попросту открыл рот и удивленно смотрел на уже втянувшееся во взвод шествие, состоящее еще из двух таких же голых «хорунжих», и также в полной боевой форме и также со свечными огарками на концах своих клинков и с офицерскими темляками и юнкерскими на своих местах.

За ними гуськом весь старший курс с обнаженными клинками и огарками, но одетые вполне прилично и по форме, и даже при офицерских погонах на плечах.

Это и был «офицерский обход», т. е. «господ офицеров», числящихся на бумаге уже в первом чине, в случае благополучного окончания училища. Тогда этот юнкерский год шел им на выслугу и пенсию.

Не окончившие благополучно училище в данном году, от «курилки» награждались более высокими чинами в виде «есаулов, полковников и генералов». Все трое голых находились уже

в этих чинах и в этом году ожидали производства в настоящие хорунжие. Даже как-то торжественно звучал мотив совершенно неприличной песни, описывающей скуку оставленного без отпуска юнкера и скучающего у окна и рассматривающего, что делается на улице.

Но содержание виденного настолько фантастично, что едва ли могло быть в действительности и одновременно в поле зрения одного человека.

«Се-ры-й день мер-ца-ет сла-бо,

Я смот-рю в ок-но.

Предо мно-ю... и т. д. (Интересующиеся могут обратиться к окончившим сотню Училища).

«Обход» прошел по всем взводам, произведя незабываемое впечатление на молодежь, и скрылся таким же торжественным шагом во второй полусотне, наиболее удаленной от находящейся внизу в эскадроне дежурной комнаты, в которой офицер, сам когда-то юнкер училища, сидел и, конечно, все слышал, но не шевельнулся с места по той же все традиции.

Такие обходы делались всегда на дежурстве наиболее любимого юнкерами офицера, и в тот год это происходило при знаменитом «Левушке», офицере эскадрона, храбром ахтырце, павшем в первую мировую войну в конной атаке и получившем за свой подвиг Георгиевский крест 4-й степени.

В помещении второй полусотни собралась вся сотня в костюмах, кто в чем был в тот момент, когда обход появился. Посреди комнаты со сдвинутыми к стенам койками на табурете стоял большой бочонок водки, неизвестно какими судьбами проникший в помещение училища. (Очевидно, все тот же хранитель традиций Николай).

«Господа офицеры» выпили первыми по чарке, потом чарка пошла вкруговую среди молодежи, т. е. «хвостатых зверей». Отказываться было нельзя.

Кеша с отвращением выпил свою порцию. Он ранее никогда не пил водки, и сегодня после пива она действовала на него ужасно. Хотелось скрыться куда-нибудь, но уйти было нельзя.

После выпивки начались танцы. Тихо, по-казачьи не стуча каблуками, прошли донцы в своем полуцыганском казачке, потом кубанцы в украинском гопаке и, наконец, терцы в неподражаемой «Наурской».

За ними прошли все по очереди и старшие и молодые всех Войск в тех же танцах. После выпитой порции всем казалось, и танцорам и зрителям, что танцуют все прекрасно. Выпитая водка действовала на тех и других. Чувствовалось приподнятое настроение, крепкая спайка и сознание единства всех казачьих Войск Великого Государства.

По окончании ритуала сотня досыпала остатки ночи и «Левушка» Панаев, не гремя шпорами, тихо прошел по всему помещению сотни в форме своего желто-коричневого полка, подчеркнув своим видом, что все благополучно и ничего запрещенного не произошло.

Подчас нелепые традиции, очевидно, не мешали формированию в стенах Училища крепкой спайки эскадрона и сотни в одну массу Российской Императорской конницы. Никакие обходы не развращали юнкеров, а наоборот объединяли их и укрепляли любовь к своему общему родному Училищу.

Сотня спала крепким сном молодости, не зная и не предполагая, что через немного лет вся эта молодежь пройдет через горнило двух тяжелых войн, что большинство из них останется лежать на полях Германии, Австрии, Пруссии, Польши, Галиции, Румынии и Турции, а также и на родных полях Украины, Донщины, Кубани, Терека, Урала, Волги, Иртыша, Забайкалья, Амура и Уссури, Енисея, Шилки и Ар гунн, в ужасной братоубийственной войне. Другая часть окончит свои дни на чужбине в горестном пребывании изгнанников...

Утром трубач Плешаков разбудит всех одновременно. Вскочат молодые «звери» и стремглав помчатся в умывалку, чтоб успеть до появления в ней «господ хорунжих», еще потягивающихся в постелях, умыться и мчаться в строй в первую шеренгу и прикрывать своими телами

опоздавших в строй старших юнкеров, еще в нижнем белье приводящих себя в порядок, пока еще не появилась над уровнем пола на лестнице голова дежурного офицера.

Тогда замрет сотня юнкеров под командой своего вахмистра, и традиции уступят место воинскому уставу, строгому, требовательному и безжалостному. Спустившись в помещение эскадрона, сотня вольется в общую волну Училища и направится в столовую для утреннего чая с булочкой и двумя кусочками сахара по проходам здания через небольшую площадку над аркой первого этажа с полевым оружием и человеческим скелетом, словно умышленно поставленных здесь для вечного напоминания о войне и смерти, этих неразлучных «друзей» воина.

* * *

Терец Тургиев лежал на своей жесткой койке и, закинув руки за голову, рассматривал потолок. Оконная форточка была открыта настежь, и через нее врвался сырой холодный осенний воздух столицы. Легкий пар вился возле нее и рассеивался немедленно.

У Тургиева завтра первый зачет по военной истории. Всего 36 билетов объемистого курса, еще не прочитанного преподавателем. Расписание репетиций было составлено так, что некоторые дисциплины сдавались юнкерами раньше прочитанного курса. Привыкнув в корпусах и гимназиях к урочной системе, когда каждый кусочек курса проверялся ежедневно преподавателем на уроках маленькими порциями, неподготовленный к умению мысленно конспектировать курс, естественно падал духом и опускал руки, не решаясь даже начать.

«Все равно не успею прочесть и тем более приготовить, так уж лучше не терять времени и здоровья, а лежать и набираться сил для строевых занятий», – подумал Тургиев, отбрасывая учебник в сторону.

– Что так? Не везет в жизни? – спросил его, тоже терец, сосед по койке Соколов, согнувшийся над курсом Военной Администрации.

– Почти что так, – ответил Тургиев, повернувшись на бок, чтобы заснуть.

– А все же, почему не рискнуть? – настаивал сосед.

– Да вот завтра зачет по военной истории, понимаешь, а я ничего не читал даже. Не лезет в голову, очень много.

– Ты сделай так: выучи на отлично первый билет, кажется введение в курс, и рискни на счастье, авось кривая вывезет?

Тургиев лениво взялся за учебник и развернул первую страницу. Он так уже внушил себе, что обречен на плохую отметку, что не хотел даже и братья за книгу. Лень обуяла его.

Перед тем, как ложиться спать, в 9-ть часов вечера Соколов спросил его:

– Ну, как?

– Прочел, – мрачно ответил Тургиев. – Мало шансов.

– А тебе-то что. Во-первых, знаешь введение – это тоже хлеб, потом авось-ка может быть поможет. – И Соколов, укрывшись с головой, заснул, устав от трудного занятия зубрежки, сухого и неинтересного, как и сам преподаватель его, генерал, добрый и сердечный в общем человек, курса Военной администрации.

Это был суровый на вид со сдавленным голосом, смотревший всегда под ноги себе и появлявшийся в коридоре «канониров» под шепот юнкеров:

«Идет, идет».

Однажды он услышал это «идет» и, войдя в класс, возмутился:

– Что это значит «идет, идет»? Что я, медведь что ли? – После чего, конечно, подвергся уже постоянному преследованию этим «идет!».

Некоторые преподаватели имели свои клички, тоже прилипшие к ним совершенно случайно, как, например, преподаватель военной топографии полковник ген. Штаба получил прозвище совершенно безобидное «Алидада».

Алидада, это – инструмент, которым пользуются при топографических съемках. Но полковник, услышав это слово, приходил в сдержанное бешенство.

– Кто ска-зал А-ли-да-да? – обыкновенно спрашивал он, войдя в класс, и услышав по пути следования это слово. Конечно, виновник не находился никогда. Выдачи среди юнкеров никогда не было.

На другой день вечером в помещение второго взвода ворвался, как вихрь, со всей восточной горячностью Тургиев и начал носиться по помещению, что-то кричать, размахивать руками и наконец перешел в самую отчаянную лезгинку.

– Ух, ух, черт, проскочил! Попался первый билет! Понимаешь, ты, ослиная твоя башка, что я получил? Де-сят-ку-у! Слышишь? – И Тургиев с такой силой обхватил Соколова в свои объятия, что несчастный взмолился:

– Ну, хорошо, ты сдал на десятку, а сколько же мне полагается?

– Нет, ты пойми, де-сят-ку! – Не унимался в своем сумасшествии Тургиев, счастливый и радостный.

– Ну, вот видишь, только в следующий раз не советую испытывать судьбу, она, брат, большая капризуля, а зубрить курс военной истории, как следует. – Только успел закончить свои нравоучения Соколов, как в помещение тоже ворвался, как гроза с бурей, оренбуржец Михайлов. Он, насупившись, ни с кем не разговаривая, шлепнулся с треском на койку, сложив по-наполеоновски руки на груди и задрал ноги на перекладину койки, закрыл глаза. Он ненавидел весь мир и не желал его видеть.

– Что так? – Участливо спросил его Тургиев.

– Что-о-о!! – Заорал, вскочив, как ужаленный, Михайлов. – Де-сят-ку?! Врешь! Ты ведь не готовился, как и я вчера, и вдруг десятка да еще по первому билету, где сплошные рассуждения черт знает о чем!

Он был, кажется, готов убить всякого, кто не провалился на первом билете и потому презрительно смотрел на Тургиева.

– Подзубрил только этот первый билет, он мне и попал. – Подзадоривал Михайлова Тургиев.

– Врешь, врешь, не поверю, хоть убей меня гром и молния!

– Не врешь, а настоящая десятка. Увидишь сам, когда принесут отметки, – спокойно возразил Тургиев и пошел в «капонир» зубрить курс артиллерии.

Михайлов остался один на койке. Он долго лежал с закрытыми глазами и всех ненавидел. Вдруг вскочил и так треснул себя кулаком по лбу, словно это был не его лоб, а заклятого врага, крикнув:

– Дур-р-ак! – И принялся тужить свою подушку кулаками, приговаривая:

– Дурак, дурак и еще идиот!

Вернувшись, Тургиев нашел Михайлова в той же позе ненавидевшего всех, но спящего. Он разбудил его и спросил:

– Как артиллерия?

– Ненавижу всех и тебя! Мелкие букашки, предатели и трусишки, идущие на обман преподавателя. Вот я, честно, по-казацки, пошел и схватил кол!

Но сам расхохотался своей глупости, и на другой день опять провалялся на койке и к курсу артиллерии не коснулся.

* * *

В одну из суббот Тургиев, сдав прилично курс артиллерии, отправился в город. Знакомых у него не было. Он нанял «Ваньку» и поехал по Вознесенскому проспекту. Падал хлопьями мокрый снег. От снега утихли городские шумы улиц, трамваи смягченно звенели и тихо катились легкие санки, пересекая яркие полосы света и синих теней на снегу. Тротуары были полны прохожих, спешивших забежать в магазины и купить что-либо к воскресенью.

Эта суетливая толпа со своими недостижимыми для постороннего интересами как-то особенно подчеркивала одиночество и отчужденность в большом чужом городе. Хотелось бы побывать в одной из этих освещенных электричеством квартир, где у пианино молодая девушка поет и сама себе аккомпанирует несложные романсы. Тепло, уютно по-семейному. Как раз то, чего не хватало забравшемуся в далекую столицу Тургиеву.

Ему показалось, что стало холодать. Кавказская легкая обувь плохо грела, Черкесска тоже, и пальцы рук застыли в лосевых перчатках. Тургиев рассчитал извозчика и, пересекая Исаакиевскую площадь с красным памятником Императору Николаю I-му, на коне скачущему прямо на Собор, вспомнил о церкви и направился к «Исакию». Шла всенощная. Пел прекрасный хор, но народу было немного. Все больше простой люд, и только у самого клироса видно было несколько «высокопоставленных» лысин и дорогих дамских меховых шапочек.

Тургиев отстоял всю всенощную. Вышел из Собора, когда над столицей простерлась уже настоящая ночь. Газовые фонари шипели, как примусы, желтили снег под собой и, слегка раскачиваясь, двигали причудливые тени от домов, пешеходов, извозчиков и памятников.

Тургиев бесцельно побрел вперед к Неве, к Сенатской площади. Потом очутился на Николаевском мосту и, перейдя его, на Васильевском острове. Навстречу шли две девицы, в беленьких шапочках, ботиках и легких шубках с муфтами.

– Ах, какой интересный юнкер, – сказала одна из них, когда поравнялась с Тургиевым. Тургиев был высок, строен, затянут и подтянут, и потому мог считать себя интересным, и потому принял комплимент на свой счет. Произошло знакомство.

– Вот, если б с Вами был еще Ваш какой-нибудь товарищ, тогда бы было лучше, – прощептала одна из девиц. Так они дошли до Второй линии Острова, где девицы начали прощаться с юнкером.

– По-че-му? – невольно вырвалось у Тургиева, предвкушавшего уже приятное время препровождение с хорошенькими девицами на улице или может быть и в кино.

– Если б с Вами был Ваш товарищ, тогда мы остались бы, а то нам некогда и потому до свидания – ответила завитая блондинка...

Тургиев явился в училище злой и раньше срока, решив на следующую субботу пригласить кого-нибудь из юнкеров пойти с ним к девицам, поэтому, ложась спать, он поделился своими впечатлениями с соседом.

– Смотри, не налети, потом набегаясь, – предупредил его Соколов – житель Питера. Лежавший недалеко Кеша, услышав про девиц и Вторую Линию Васильевского острова, ревниво прислушался к разговору, и, повернувшись к Тургиеву лицом, прошептал:

– Не советую. Девицы чепуха, нестоящие.

Этого было вполне достаточно, чтобы Тургиев решил в следующий раз отправиться именно к ним, к этим девицам. Адрес он знал.

И только попав на Васильевский остров, еще не доходя до Второй линии, он уже столкнулся именно с этими девицами, словно поджидавшими его.

– Наверно ждали меня, значит я им нравлюсь, – подумал молодой Дон-Жуан, приглядываясь к блондинке. Но одновременно с ним к девицам подошел студент в полувоенной форме и девицы обрадовано враз вскрикнули:

– Вот и другой! Отлично! Теперь мы можем идти к нам.

– Почему к вам, еще погулять можно немного, – возразил Тургиев. Но девицы запротестовали и заявили, что скоро Рождество, и им нужно еще поработать, и потому они торопятся. Тургиев пошел со всей компанией.

В и часов ночи он выскочил на воздух из душной квартиры. В голове шумело, во рту было сухо и хотелось спать. Когда он появился возле дежурки, от него несло табаком, вином, духами и морозом.

– Дайте что-нибудь пожевать. Несет от меня?

– Да, изрядно, – проговорил Саша Мурзаев, вынимая из кармана какую-то пилюлю и подавая ее Тургиеву.

– Фу, пакость какая, – невольно вырвалось у Тургиева.

– Ничего, не подохнешь, зато не слышно, как несет от тебя.

Тургиев, отрапортовав дежурному офицеру, влетел в помещение взвода и тут только вспомнил, что ко второму зачету по военной истории он не готовился, и на этот раз зачет послезавтра.

* * *

Вечером во вторник Тургиев стоял у доски и обдумывал свой билет. Обдумывать, собственно, было нечего, так как Тургиев совершенно не знал содержания. На этот раз не вывезла кривая: Тургиев и на этот раз ограничился изучением только первого билета.

Перед ним отвечал кандидат в вахмистры, петербуржец, готовивший курс по воскресениям и выходным дням с преподавателями-репетиторами теми же, что преподавали и в училище. Отличный ответ и отличный балл был ему обеспечен.

Но каково приходилось тому, кто должен был отвечать после него, даже будучи подготовленным, не говоря уж о Тургиеве, не знавшим на этот раз ровно ничего. Правда, по кадетскому масштабу он кое-что знал, так как ему попала тема – Петровские войны. Тема обширная, но кадетских знаний тут совершенно не хватало, а отвечать, пользуясь только ими, у самолюбивого юнкера не хватало нахальства.

Тургиев стоял у доски и рассеянно слушал затянувшийся ответ будущего вахмистра. Вдруг дверь открылась и в класс вошел командир сотни Греков. Всегда подтянутый, крадущейся своей «шакальей» походкой он подошел к столу полковника Одинцова и что-то ему прошептал, показывая список и стальными, колючими как иглы, глазами обводя весь класс. Взгляд его остановился и на Тургиеве.

– Ну, конец. Пришел проверять тех, кто поздно вернулся из последнего отпуска, мелькнула подозрительная мысль у несчастного, готового провалиться сквозь землю.

– Черт бы побрал этих девчонок! С ними только пропасть можно, кроме всего прочего. Тут мысли Тургиева остановились на минувшем вечере, и невольно страх за судьбу своего здоровья схватил его. Этого еще не доставало! Тогда пуля в лоб...

Греков вышел на середину класса и вызвал несколько юнкеров, в том числе и Тургиева. Юнкера помчались вон из класса. Тургиев стоял у доски, как прикованный.

– Ну?! – Марш живо переодеться и в конюшню. Едете в Михайловский манеж на репетицию по джигитовке! – Гаркнул Греков так, что Тургиев пулей выскочил из класса и помчался догонять, все еще не понимая, что с ним произошло, своих коллег по счастью, как потом оказалось.

* * *

Когда поздно вечером Тургиев вернулся из Михайловского манежа и вошел в помещение своего взвода, он прежде всего увидел Михайлова с по-наполеоновски скрещенными руками на груди, лежащего на койке и смотревшего в потолок. Глаза его были закрыты, как всегда, когда он всех ненавидел.

– Ну, как? Спросил его Тургиев, улыбаясь, уже зная, что Михайлов принимает подобные позы после очередного провала.

– Нарвался на 59-м билете, черт бы его взял. Какие-то идиотские бои в Крыму с турками, англичанами и неизвестным мне совсем Сардинским королевством. Еще не хватало, чтоб я знал историю сардинок. А ты? – спросил он в свою очередь.

– Я? Сдал на девятку.

– Что-о-о! На де-вят-ку?! Что ты мне тут врешь? Что я, ишак что ли, которому все можно говорить? Не ври. Говори, сколько?

– Девятка, спокойно ответил Тургиев. – Спроси хоть самого Шакала, вахмистр только что мне сказал.

– Ты не учил историю! Не ври! Тут какое-то колдовство! Продажные все души!

– Ты же знаешь, где я сейчас был. Нет? Ну вот. Мы джигитовали в Михайловском Манеже, куда Шакал назначил и меня, а полковник Одинцов поставил всем джигитам на один балл меньше, но не спрашивая их. Вот и все.

– На один бал меньше... джигитам! Завтра же себе или сломаю голову или сделаюсь таким джигитом, что заткну всех вас з...цев за пояс! Вот! – Михайлов долго ворчал и ворочался на своем твердом ложе. Плевался через голову соседей куда-то в пространство, все повторяя:

– Какое отношение военная история имеет к джигитам? Черт знает что! Ни черта не пойму!

Тургиев, раздеваясь, опять дал себе слово зубрить военную историю уже на совесть.

– И никакая женская сила не оторвет его от занятий... Но, вспомнив про женскую силу, невольно вспомнил блондиночку и крикнул Аргунову:

– Аргунов! Свою блондиночку я в субботу видел...

Кеша ничего не ответил. Притворился спящим и для вида даже захрапел. На душе у него было скверно.

– Аргунов! Дай ему в ухо! – Крикнул Михайлов. Но Кеша ничего и на этот раз не ответил.

* * *

В день тезоименитства Государя Императора группа юнкеров сотни сложилась капиталами и наняла ложе в Мариинском театре на «Пиковую даму». Всех было 13 человек, а так как мест в ложе было только шесть, то остальные должны были стоять. Но зато за ложей была еще комната, в которой раздевались, но оттуда хорошо было слышно все, что происходило на сцене.

– Там, брат, ложа и еще раздевалка за ней, можно отдохнуть и покурить, – хвастались своей осведомленностью бывалые. Сговорились тут же сойтись всем вместе в условленный час.

Юнкер Шадрин, звероподобный сибиряк, огромный и широкоплечий Геркулес, опоздал к началу и, не найдя ложи, бродил по коридорам, пока к нему не подлетел какой-то старичок в белых чулках и ботинках, во фраке, совершенно не похожем на обычные фраки, с красной грудью и расшитыми золотом рукавами, и спросил, что угодно юнкеру.

Шадрин, приняв его за камергера Высочайшего Двора, ответил, назвав его для приличия Ваше Сиятельство. Старичок отвел его к ложе и тоже назвал Шадрина Вашем Сиятельством...

Так два Сиятельства и разошлись каждый по своим местам. Сиятельство, оказавшееся театральным лакеем, проводило другое Сиятельство в ложу.

– Пжалте сюда вот, Вашсясь, проговорил лакей, открывая и закрывая двери.

Войдя в ложу, Шадрин обалдел от яркого света, сияющих расписных позолоченных гербов на потолке и ложах, огромных люстр, свисающих подобно сталактитам над партером, красивого занавеса и рокота, несшегося откуда-то снизу, куда Шадрин заглянул и удивился еще больше.

Там полуголые женщины, осыпанные, как елочные украшения, бриллиантовыми блестками, сверкали драгоценностями и светлыми дорогими платьями и обмахивались тяжелыми веерами.

Возле них вертелись и двигались разноцветные гвардейские мундиры, блестели кирасы конной гвардии, гусарские белые ментики и голубые, желтые, синие, красные и малиновые мундиры казачьей гвардии, красные черкески Собственного Его Величества Конвоя, расшитые груди юнцов пажей и старых камергеров, их золотые лампасы на белых штанах, лысины сенаторов и фантастические прически дам перемешались в общей массе голов, плечей, кресел, как-то странно выглядевших в сильном ракурсе сверху из ложи.

Наконец, рокот затих, и дирижер в белых перчатках взмахнул палочкой, и оркестр затрубил, зазудил смычками, загнусавил кларнетами, завыл валторнами и медными инструментами, подсвистывая флейтами и рокоча литаврами. Тромбоны ревели, как иерихонские трубы.

Раздвинулся широкий занавес и опера началась.

В соседней ложе слева, тоже очевидно вскладчину, набились несколько девиц в формах института благородных девиц со старой дамой, их надзирательницей. Одна из девиц сидела на барьере, смежном с юнкерской ложей, спиной к юнкерам, вся устремленная на сцену.

Направо в полупустой ложе двое, очевидно муж и жена, старики, очень чопорные и видимо давно надоевшие один другому. Со сжатыми крепко в ниточку губами и не поворачивая голов, они смотрели против себя, казалось ничего не видя и не слыша. Конечно, оперу они видели не один раз. Они недружелюбно косились на ложи девиц и юнкеров.

Впечатление у молодежи от оперы было огромное, так что когда графиня являлась Герману в карцере, казалось, что могильный воздух пахнул со сцены на ложи, и девица, сидевшая на барьере, невольно отвалилась назад, потеряв равновесие. Шадрин своими, уже в 20 лет гнувшими подковы, руками поддержал ее за хрупкие плечи, вызвав шипение и прочие недовольные звуки у старичков и надзирательницы. Девицу она направила в переднюю комнату, а на ее место села сама.

Старички долго, как гуси, вертели худыми шеями и, так же как туей, открывали и закрывали рты.

Больше для Шадрина ничего не произошло. Музыкален он не был и потому запомнил только реплику Германа: «Три карты, три карты, три карты».

* * *

Вернувшись из театра, Шадрин вступил на ночное дневальство в эту ночь. Было уже около двух часов ночи, когда он, обойдя все помещения сотни и капониров, вернулся в читалку, твердя:

– Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз...

На дворе стояла нельская мокрая и снежная зима. Ветер хлопает где-то под крышей здания училища, что-то трещало по коридорам, какие-то непонятные стоны ухали снизу из помещения эскадрона.

Мистическое настроение охватило настолько юнкера, что он, не боясь ничего, начал озираться по сторонам. Борясь со сном, ходил взад и вперед, скрипя паркетом, трещающим под его тяжелым шагом.

Вдруг ему показалось, что в первой полусотне что-то упало и разбилось. Он бросился на звук и в это время, когда он вошел в коридор, из юнкерской читалки выскочило что-то белое, почти в рост маленького человека. Шадрин не любил шуток и потому немедленно хватил выхваченным из ножен клинком по этому белому и пересек его пополам.

В читалке его привлек подозрительный шум. Там что-то шипело, шелестело, дул оттуда ветер, но в темноте нельзя было ничего разобрать. Шадрин вошел в читалку. Что-то мазнуло его по лицу и отскочило назад.

Холодея, юнкер протянул руки к лампочке, к выключателю, который находился при ней. И о ужас, стыд и позор! На полу, как льдины, ползают газеты и журналы, занавеска качается от проникшего в читалку ветра через разбитое оконное стекло... Перерубленное белое оказалось газетой «Новое Время», выползшей стоймя из читалки под первой струей воздуха.

Шадрин вложил шашку в ножны и, конфузливо осмотревшись, привел в порядок читалку, но никому о своем ночном происшествии, вызванном мистическим настроением после оперы, так и не рассказал.

* * *

Ночь длинная, нудная тянулась медленно. За окном свистел ветер и стучал по крыше. Словно дома, в Сибири, невольно подумалось Шадрину. Вспомнился кадетский корпус, глухая стоянка 1-го Ермака Тимофеевича полка на границе с Китаем в Джаркенте, куда можно было пробраться только верхом.

– Вот в такую пограничную дыру я должен буду вернуться через два года, как бы хорошо ни окончил училище. Это после столицы, богатого города, красивых его проспектов и дворцов, каналов и парков, прекрасных театров и красавицы Невы. Вспомнился свой хутор на Иртыше, где остался приготовленный ему отцом доморощенный конек – смесь английского с киргизом. Получился высокий конь со стремительным аллюром. Шадрин решил по производству в офицеры готовить его на скачки. Иметь хорошую, сильную, выносливую лошадь для казака первое дело. Потом служить на ней в мирное и военное время. Хороший конь не выдаст. Но нужно и его беречь. «И лучше сам ты ешь поплоше, коня же в теле содержи» – поется в песне всех Казачьих Войск.

* * *

С вечера было приказано всему училищу быть готовому завтра в 5 ч. утра к выходу на Марсово поле для траурного парада – встречи гроба с телом Вел. Кн. Алексея Александровича, брата Императора Александра III-го и дяди царствующего, умершего в Париже.

Гроб с прахом должен был проследовать от Николаевского вокзала по Невскому, Садовой, мимо Инженерного замка, Летнего сада, через Марсово поле, Троицкий мост через Неву в Петропавловскую крепость – усыпальницу Императорской фамилии со времен Петра I-го.

Еще не догорели газовые огни в столице, еще дворники не вышли подметать тротуары, покрытые снегом, еще одинокие гуляки бродили по улицам, училище со штандартом, обернутым в черное, вышло из ворот по Новопетергофскому проспекту к своему месту на Марсово поле возле Лебяжьей канавки.

Пришли ранее всех войск конной гвардии, еще тянувшейся длинными запорошенными инеем лентами со всех концов города.

Марсово поле, побеленное выпавшим за ночь небольшим снегом, казалось чисто вымытым и каким-то новым. От белого снега и инея высокие деревья Летнего сада казались слишком черными, окаймляя Марсово поле с двух сторон.

Против Лебяжьей канавки смутно маячили в тумане казармы Павловского полка, правее их едва видный угол Мраморного дворца и памятник Суворову, правее Английское посольство.

Стояли в конном строю долго. Снег начал падать мокрыми крупными хлопьями, закрывая все перед юнкерами. Только осыпанные снегом фигуры всадников конной гвардии напоминали картины Верещагина из цикла «Похода на Россию Наполеона».

Разнообразно одетые в казачье обмундирование, юнкера сотни походили на партизан Платова, Грекова, Сеславина, Давыдова, Фигнера и других героев 1812 года.

Стояли долго. Лошади под всадниками, устав, переминались с ноги на ногу. Войска не спешили, так как общей команды не было.

Только седого престарелого литавщика Л.-гв. Кирасирского полка ссадили два гиганта в кирасах, чтобы он мог размять старческие ноги и немного погреться.

За войсками позади, толпы народа тоже терпеливо ожидали траурного проезда.

И лишь к полудню какие-то неясные, едва уловимые музыкальным ухом, звуки послышались со стороны Невского. Это двигалась траурная процессия по проспекту между плотными рядами стоявших шпалерами войск Гвардейской пехоты.

Снег валил и заглушал грустные марши Бетховена, Мендельсона и Шопена. Какие-то обрывки рыданий медных инструментов проникали на Марсово поле.

И как-то неожиданно ударил громко барабан и шопеновский марш поплыл над войсками. И сейчас же слева появилась бесконтурная темная масса. Ближе, ближе – и вот наконец ясно уже видны золотые хоругви, ризы духовенства, странные архалуки певчих Императорской капеллы, султаны на черных пополах над головами лошадей и по полю певуче пронеслась команда:

– Шашки и палаши вон, пики в руку, слу-ша-а-й!

Войска замерли. Тишина на поле, и только издалека слышится погребальный звон Петропавловского собора из крепости.

Едва только катафалк поравнялся с сотней, по рядам прошел как вздох тихий шепот:

«Государь, Царь, смотри. Вон рядом с Вел. Кн. Николаем Николаевичем. Вон с тем, что самый высокий».

– Да где? Ничего не видно, – шепчет голос из второй шеренги. – Посторонись немного, ты!

– Чтоб наряд вне очередь схватить? – огрызается зловещим шопотом стоявший впереди счастливый степняк с пикой.

– Д-а, вот вижу, вижу. Это Он. С вензелями на погонах, полковник, да, да, Он.

Наконец все увидели, и, не сводя глаз с офицера в серой шинели, красной лейб-гусарской фуражке, идущего рядом с Николаем Николаевичем, возвышавшимся своей седой бородкой клином над всей Императорской свитой.

За малым, может быть, исключением юнкера сотни видели Государя впервые. Какое счастье видеть того, ради которого старались выйти в столичное училище. И, казалось, скажи Он только сейчас одно слово приказания, и вся юнкерская масса бросится по его приказу, куда он только укажет. Все не по команде, а какому-то внутреннему влечению смотрели только на Государя, видели только его, не обращая внимания ни на хорошенькие личики Великих Книжен, выглядывавших из карет, ни на Государеву свиту, ни на массу венков, покрывающих катафалк и еще везомых позади его.

Кто-то, видимо понаслышке о Царской экономности, даже заметил латку на его сапоге, правда не новом.

– Да где она, латка-то? Покажи, слышь ты. – Раздосадовано шепчет кто-то из задней шеренги, которому видимо дорог был каждый кусочек Государевой одежды, даже заплатка на его сапоге, которой в действительности и не было. О покойнике никто не думал. Его похороны были только случаем увидеть кадетскую мечту в реальном осуществлении.

И вот Он перед ними, такой простой и скромный, совсем похожий на обыкновенного офицера, оставшийся в чине полковника на всю жизнь, не будучи произведенным отцом в генеральский чин и не пожелавший налагать на свои плечи высшего чина Сам.

Процессия шла и шла бесконечными рядами войск пехоты, артиллерии и специальных.

Кавалерия начала выстраиваться для похода за процессией. Вся войсковая масса тянулась к Петропавловской крепости.

Тело было в цинковом гробу и потому прощания войск с умершим не было. Но все равно, Училище отправилось домой только под вечер. И вот, проходя снова по Марсову Полю, сотня услышала команду:

«Сотня, смирно, господа офицеры! – Равнение направо!»

По привычке повернули голову направо, ожидая увидеть какое-нибудь «высокое» лицо, уже надоевшее своим появлением не раз, и вдруг мимо на тройке серых в яблоках прекрасных коней Он один с кучером, запорошенный снегом в белом вихре кидаемой лошадьми снежной пыли, промчался, держа правую руку в белой перчатке у козырька красной фуражки, как сон, как мечта, по направлению к «Храму на крови» на Екатерининском канале, к тому месту, где 30 лет назад пал от рук злодеев его царственный дед, так же любивший свой народ, как и Он сам.

Только громкое ура успели крикнуть вдогонку юнкера, как Государь уже скрылся за поворотом на канал, оставив молодые сердца сжаться в порыве преданности Государю и Родине, которую он олицетворял для по-военному преданных ему юнкеров. На долю их же выпала тяжелая участь стать современниками злодейского убийства всей Императорской семьи.

В тот вечер Государь словно умышленно проехал по той же дороге, по которой проехал его дед перед смертью.

* * *

Когда проезжали по Конюшенной улице, астраханец Ногаев, шедший в одной тройке с Кешей, мотнув головой немного вверх, кинул как бы между прочим:

– Хорошая девочка тут живет. Я бываю каждый отпуск... мамаша у ней... всегда уходит, и мы остаемся вдвоем. Эх, Кешка, хорошо, брат, жить на свете, ох как хорошо... ни черта-то ты не понимаешь!

И Ногаев снова мотнул своей красивой головой, с огромными глазами, дикими изломами непокорных бровей и резким очертанием тонких губ, одновременно и красивый, и уродливый. Решительные четкие линии носа придавали хищное своевольное выражение его лицу. Его можно было сравнить только с демоном.

– Красивая девочка... может быть, женюсь... может быть, нет. – Уже хитро подмигнув, сказал он, нагибаясь с седла и подхватив какой-то мерзлый комок с мостовой.

– Ногаев! Два наряда не в очередь. За неумение держать себя в строю!

Ловко сидя на своей лопухой чистокровной кобыле, вездесущий «Шакал» промчался, строго озирая своими стальными серыми глазами юнкеров своей сотни.

– С подарочком тебя, Ногай, – шепнул весельчак Мякутин, хитро улыбаясь.

– И откуда он взялся, Ш-ш-и-а-кал проклятый, – делая страшные глаза, выругался Ногаев.

* * *

Каждый год для практики караульной службы Военные училища и Пажеские классы Пажеского корпуса занимали караулы в Зимнем дворце столицы. Во дворце никто не жил и только апартаменты Командующего Петербургским Военным Округом были заняты Вел. Кн. Николаем Николаевичем.

Строг Великий Князь был страшно, и его боялись больше, чем огня, и юнкера и генералы и кто из них больше – трудно сказать.

В этот год училище поочередно (эскадрон и сотня) занимали караул в марте месяце. На посту № 1-й стоял забайкалец Гриша Игумнов и зорко всматривался в пустоту мартовской ночи. Кроме силуэтов зданий Главного и Генерального штабов ничего не было видно. Тусклые фонари под Александровской колонной только увеличивали мрак, окружающий ее.

Высокая и ровная, как свеча, колонна уходила куда-то вверх вместе с Ангелом на ней.

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа», – продекламировал про себя Гриша, вспоминая:

– Где, однако, я слышал это? Может, это Пушкин или Державин. Вот, черт возьми, все вылетело из головы, что в корпусе учил. А когда-то помнил...

С Невы к нему доносился едва уловимый шум. Ветер трепал подбитую «честным словом» грубую солдатскую шинель, хлопал ее полами по начищенным сапогам юнкера и свистел в ушах.

– Однако, холодно, – пробурчал Гриша, вспоминая свою старенькую шинель, оставленную в училище, пахнущую конским потом и навозом и такую теплую, облежавшую все тело и всюду гревшую.

– Дурацкая форма одежды у нас, степняков. Торчит, как намокшая «винцерада», а толку от нее ни на китайскую чёху нет. То ли дело у кавказских войск: черкеска. И красиво и тепло, поди, в ней. А это что? Не то солдат, не то юнкер... А там, на Неве еще, поди, хуже... ветер-то какой, – вспомнил Гриша своих товарищей, занимавших караулы вдоль фасада Дворца по Неве.

Вдруг его как-будто качнуло.

– Что это? Ветер или сон? – Вот еще не хватало на сегодня... – Последняя фраза относилась к сегодняшнему полудню, когда Гриша только вступил на свой пост у Главных ворот Дворца, куда его поставили за исключительно зоркое зрение, ибо Гриша мог различать предметы «пока глаз хватал».

Только разошлись по местам часовые, как на Гришу «налетел» Вел. Князь Константин Константинович, требовавший точного исполнения военного устава.

Он подошел к Грише, спросил о его обязанностях, похвалил и подал ему свою визитную карточку.

Лестно было юнкеру иметь визитную карточку Великого Князя и Гриша, забыв все на свете, принял ее. И, как мышенок, попал в мышеловку. Его еще кроме всего смутила траурная каемка на карточке по случаю траура при дворе по смерти В. Кн. Александра Александровича, недавно похороненного.

Но вдруг он вспомнил, что часовой ни от кого не имеет права принимать ничего. Испугался и в страхе бросил карточку на землю.

– Ты чего ж это мою карточку бросил? – спросил Великий Князь, кусая под усами губы. Гриша стоял ни жив, ни мертв.

Два преступления по службе! Принял вещь, будучи на посту, и потом бросил на пол вещь, принадлежащую его начальнику, и кроме того Великому Князю. Грише уже мерещился грозный «Шакал» и мысленно считал он, сколько суток строгого ареста ему причитается или,

того хуже, разжалование в рядовые казаки и отправка в полк выслуживать прошение в какой-нибудь Аргунский казачий, стоявший в безводной пустыне в Монголии. И охваченный отчаянием, он крикнул не своим голосом:

– Не имею права ничего принимать от Вашего Высочества!

– А бросать на землю имеешь право? – спросил Великий Князь строго.

– Виноват, Ваше Императорское Высочество, – тихо, едва слышно проговорил Гриша, едва шевеля языком. – Виноват, Ваше Императорское Высочество.

– Ну, тогда подними и подай мне, – сказал Великий Князь.

– Не могу, Ваше Высочество, – пыхтел, как варенный пельмень, Гриша.

– Не хочешь, значит? Ну, хорошо, когда сменишься, подними и возьми на память о нашем знакомстве, – сказал Константин Константинович и, пробрав, как следует юнкера, как говорят «с песком», пошел прочь на другие посты.

Приняв за несколько минут холодную и горячую и снова холодную ванну, Гриша обалдело смотрел вслед Великому Князю.

– Хорошо, если не сообщит в Училище, а если сообщит? – Грише даже не хотелось и думать о том, что будет, если Великий Князь сообщит. Ему теперь хотелось только одного, чтобы его смена продолжалась вечно.

Но потом в караульном помещении после четырех часового отдыха Гриша немного отошел, видя, что его не вызывают «на цугундер» и вообще все в карауле идет нормальным путем.

– Хорошая у него память, вот беда. А то бы забыл про меня. А может и забыл. Мало у него в училищах еще дураков, чтоб всех запоминать. Вот бы хорошо, если бы забыл...

И Грише очень хотелось, чтобы в Училищах было побольше дураков, которых трудно было бы запомнить Великому Князю.

– Если «Шакал» не узнает, тогда совсем «лафа». Если все пройдет хорошо, во-о какую свечу поставлю. Только кому: Николе Угоднику или своему Забайкальскому Святителю Иннокентию? – решал Гриша в тот момент, когда чугунный Ангел на колонне треснул его крестом по лбу так сильно, что у несчастного юнкера искры посыпались из глаз и, разбежавшись в разные стороны, быстро сошлись в двух ярких фарах против Главных ворот Дворца, у которых стоял Гриша.

– Стой, кто идет? – закричал Гриша таким голосом, что стоявший у второго подъезда терец Изюмов так и застыл, ежидая клинок и думая, что на соседний пост совершено нападение.

– Фельдъегерь Его Императорского Величества! – услышал он.

– Чего это приехал фельдъегерь? – размышлял Изюмов, одновременно решая вопрос и об неудобном для столицы кавказском обмундировании. – Не греет черкеска. Холодно в ней. То ли дело у степняков! Папаха одна чего стоит, а тут какой-то колпачек на кофейник, не более.

– Фельдъегерь Его Императорского Величества, – снова услышал Изюмов.

– Какой фельдъегерь и почему? Не иначе, как морок и более ничего. Но тут же услышал, как на первом посту открывались тяжелые ворота, и часовой пропускал во внутрь двора автомобиль.

И чтобы поправить первое впечатление, Гриша снова крикнул во двор часовому, стоявшему у кордегардии:

– Фельдъегерь!

* * *

Налево от Гриши Игумнова стоял на посту у «Зимней канавки» румяный кубанец Борис Некрасов. «Зимняя канавка» соединяет канал «Мойка» с Невой под аркой, соединяющей в

свою очередь Дворец с Эрмитажем. Ветер тут дует, как в трубе, и насквозь пронизывает легко одетого часового.

Некрасов немного поэт и мечтатель и потому поэтическая «канавка» для него и история, и поэзия вместе. Верилось, что действительно Лиза утопилась именно здесь. Как-то сама лезла в уши ария из оперы:

«Подружки-и ми-и-лы-е...»

А жестокая судьба уже чертила в то время на хмуром петербургском небе будущее молодому юнкеру, мечтавшему жизнь свою положить «за Веру, Царя и Отечество»... Знал ли тогда и мог ли знать Некрасов, что пройдет не более года, и он с кубанским разъездом будет окружен восставшим племенем шахсенов в Персии и что его весь разъезд будет уничтожен и сам он жестоко изранен. Будет отбиваться до последнего патрона и когда их не станет, работать кинжалом до тех пор, пока его не выбьют из рук рассвирепевшие персы. Израненного, его подберут прискакавшие на помощь казаки. Государь за храбрость не в пример наградит его боевой наградой, несмотря на то, что дело было в мирное время, и украсит грудь молодого героя Владимиром 4-й ст. с мечами и бантом.

Но не вынесет Борис раннего инвалидства и покончит с собой.

* * *

Направо от Гриши пост у Салтыковского подъезда. Там стоит хорошенький, как девочка, Коля Шамшев, с немужскими большими глазами, породистым прямым носом, гибкий и стройный, как лоза, с маленьким детским ртом, нахмуренный от природы, такой похожий весь на девушку.

Служба для Шамшева святой подвиг, путь к которому выбирают только очень честные люди. Служить на военной службе – значит жертвовать собой без остатка. И Коля мечтает выйти в Донскую гвардию.

Предполагал ли он тогда, хотя может быть и желал уже, что через четыре года он во главе своего Атаманского взвода падет смертью храбрых и заслужит посмертный Георгиевский крест 4-й степени «за храбрость».

Черные тучи плывут и, кажется, цепляются за верхушки деревьев Александровского сквера, что против Адмиралтейства. На деревьях беспокойно каркают встревоженные бурей вороны. Против сквера стоит на часах сибиряк Асанов.

Воспоминания раннего детства кошмаром стоят перед его взором. Будучи шести лет, он видит, как ночью в квартиру ворвались восставшие дунгане и вырезали всю его семью. Он сирота, нервный и издерганный и подвергается неожиданным припадкам.

Ветер качает деревья и гудит среди веток, невольно напоминая Асанову легенду о славно-м Ермаке.

«Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала...».

Пост Асанова в Маленьком садике у подъезда Марии Федоровны, окруженном художественной чугунной решеткой с Императорскими гербами. Думал ли он тогда, что эта решетка безжалостно будет снесена новыми людьми, пришедшими властвовать над народом, и перенесена на кладбище, а бывший уютный скверик станет проходным и запущенным, как осиротевшая левада бобыля.

На набережной Невы стынут несколько часовых вдоль всего фасада дворца. Черная ночь. Нева стальной лентой блестит синими оттенками побуревшего льда, готового вот-вот тронуться.

За Невой высокий шпиль Петропавловской крепости с поворачивающимся Ангелом, вонзенным в самые тучи, точно плывущим в них, с огромным крестом в руках.

Мимо часовых целыми днями проносятся богатые экипажи, шикарно одетые женщины, гвардейские офицеры на лихачах. Проходит элегантная публика и смотрит с любопытством на разнообразно одетых часовых, чего не бывает ни в одной строевой военной части. Но сейчас набережная пуста.

Коля Акутин, высокий в своей туркменской папахе уралец, немного нерусский на вид, смотрит на Неву. На этой набережной может быть когда-то стояли его далекие родичи, Яицкие казаки, служившие в гвардии при Павле I, но расформированные Екатериной II после Пугачевского бунта.

Тогда Яицкое Войско было переименовано в Уральское и лишилось своей артиллерии.

Коля мечтает в первую же войну отбить у неприятеля его батарею и преподнести Государю с просьбой оставить ее родному Войску.

Через четыре года Коля – первый командир такой батареи, отбитой у австрийцев.

Правее его коренастый богатырь, потомок татарских мурз, Саша Мурзаев, кубанец.

Саша всегда спокоен и выдержан при своей необычайной силе. Все его движения подчинены какому-то внутреннему указанию: они не порывисты, но рассчитаны, словно Мурзаев боится своей необычайной силы. Он все делает аккуратно. Все впрок и на долгий срок. И когда его спрашивают:

– Пойдешь, Саша, в Академию? – Саша спокойно отвечает:

– Что ж, захочу если, пойду. Не захочу, не пойду. Чего ж тут особенного? Можно и подготовиться.

Учился он хорошо. Ездил на лошади тоже. Рубил как будто так себе – по воздуху шашкой шутя махал, но ставившие юнкерам лозу для рубки солдаты отходили всегда подальше, когда мимо них мчался с поднятой для удара шашкой Мурзаев, зная, что если этот юнкер ошибется, то легко можно будет лишиться и головы. Удар его мог быть только смертельным.

Саша погиб в Гражданскую войну от пули в живот. Долго мучился, умирая. Здоровый организм боролся, но условия гражданской войны были тоже жестоки, и Саша, оставленный без призора, умер.

* * *

В караульном помещении Дворца у большого стола столпились ожидающие выхода на пост юнкера. Часовая стрелка больших часов на стене подходит к часу ночи. Смене стоять от часу до трех. Самое тяжелое время для организма. Сон давит на веки и тело слабеет.

Но сейчас все еще бодр, подчищены, прибраны и готовы выйти по первому сигналу. На руках уже белые лосевые перчатки и винтовки в руках. Веселый оренбуржец Мякутин от нечего делать плетет какую-то небылицу или правду, трудно понять.

– Стою я как-то вот в такой же час на посту «Портретной Галереи». Спать хочется здорово. Пост далекий, где-то там на другом конце. Кругом по стенам развешены знамена и значки, отбитые нашими войсками в войнах. Тут и французские одноглавые орлы, тут и немецкие, турецкие, персидские, польские, литовские, татарские, туркменские, венгерские, шведские и китайские... знамена. Какие-то портреты на стенах. А рядом со мной в стеклянном ларце скрюченная кисть руки какого-то Мальтийского рыцаря. Вот, ребята, где жуть-то... – А говорят, что это рука самого Иоанна Крестителя, ей Бо...!

– Да ты хотя бы не брехал так здорово, – возмущается маленький астраханец Догадин. – Сейчас мне на этот самый пост идти, а ты развел тут брехню. Замолчи!

Мякутин нарочно и завел весь этот разговор специально для Догадина, и потому не останавливается, а продолжает:

– Вот стою и смотрю перед собой на большую картину, «Фортуна» называется. На одном колесе такая полуголенькая девочка мчится и из здорового рога цветы и деньги сыплет... а сама как живая и кажется – движется. Потом мне показалось, что она совсем вылезла из рамы и прямо на меня прет...

– Молчи, черт тебя совсем... не то как трахну вот этим! – И Догадин, шутя, замахивается на Мякутина кулаком, но тот уже попал на своего конька, и остановить его было невозможно.

– Смотрю на нее, понимаете, ребята, а позади меня ка-а-а-к кто-то чихнет!! – Слушатели как по команде уставились на рассказчика. Догадин нахмурился и отошел. – Ка-а-а-к чихнет!! – Еще прибавил Мякутин. Я стою ни живой, ни мертвый. Только слышу, как кто-то шаркает позади меня старыми пантофлями, ей Богу. Оглядываться не имею права, рубить невидимого врага тоже, вот положение. Но все-таки покосился влево, а там какой-то старикан в белых чулках и коротеньких штанишках плетется и нос вытирает. Ха-ха-ха!!! Это, значит, шпионил за мной, чтоб я чего не упер там.

Большинство разочарованно отодвинулось от рассказчика. Все ждали чего-то более интересного и страшного, а тут вдруг какой-то старикашка.

В мутные окна караульного помещения смотрится темная ночь. Над столом тускло светит электрическая лампочка где-то под самым потолком. Настроение у юнкеров определено на фантазию и потому один тихо, пока еще неуверенно, говорит:

– А вот в Павловском Военном – так там юнкер штыком проколол портрет Павла Первого.

– Не проколол, а прострелил, – возражает ему более осведомленный.

– Чего он, с ума сошел что ли?

– Сойдешь, когда мерещится. Вот так же наверно наговорили ему перед выходом на пост, вот и опупел парень, – проговорил кто-то из дальнего угла караулки.

– А то вот еще, в этом помещении караул подорвали революционеры. Финляндский полк стоял в карауле. Целый пуд порохи подложили.

– Не ври! Це-лы-й пуд! Хватит с тебя и полфунта, чтоб оторвать твою башку.

– Да когда это было-то? Давно, поди?

– Дав-но. Еще во время Царя-Освободителя. Убить его хотели, а он спасся, а караул погиб.

– Неужели весь?

– Плетут тут всякую чепуху, а сами и не знают, правда это или нет. – Недовольно проворчал Догадин и весь как-то подтянулся и поправил на плече винтовку.

С лавки поднялся заспанный донец Кутырев из отдыхающей смены и хриплым спросонья голосом спросил:

– Кому идти на пост № 3-ий?

– Мне, – ответил Курбатов.

– Тогда, смотри. Мне там сегодня Великий князь чуть не припаял хорошо.

– А что?

– Там, знаешь, лампочка высоко над головой только лысину греет, а впереди высокая узкая лестница как в погреб, ни черта не видно, когда кто спускается по ней, только силуэт. Вот и слышу – идет кто-то ко мне. Смотрю: вы-ы-сокий, высокий. Ну, думаю, Николай Николаевич. Струсил и повторяю и свои обязанности в уме и молитву читаю. Богородица смешалась с Полицеймейстером Зимнего Дворца, получилась каша какая-то в голове...

– Да ты не тяни, а то скоро идти на посты, – возмущаются менее терпеливые.

– Ну, смотрю и жду. Тоже, брат, если выпалить в него, то потом всю жизнь будешь страдать, да еще и засудят. А он лезет прямо на меня. Мне бы уже время окрикнуть его, а я все жду. Не могу разобрать, кто. Вижу только, что не из нас кто. Если б не знал, что может Великий князь прийти, так пальнул бы и все, чтоб не лазил. А то... Ну, в общем, оказался Константин

Константинович. Немного отлегло на сердце, а он тут как тут. И руку тянет к винтовке, а она у меня у ноги, не за плечами, как у вас всех.

– Этот пост самый серьезный, верно, Курбатов?

– Да, конечно, – ответил тот, весь поглощенный вниманием, а Курбатов продолжает:

– Тянет руку к винтовке. – Не подходить ко мне, стрелять буду! – ору я, как дурак. А он смеется и руку тянет. Как толкну ее дулом вперед и задел его за пальцы.

– «Близко подпускаешь, говорит, как фамилия»? Теперь не знаю, попадет мне или нет? – И повернувшись к стене, закрылся папачкой и заснул Кутырев.

Часовая стрелка показывала без 10 минут час ночи. Разводящие начали собирать свои посты и смены вышли из караульного помещения.

* * *

Зимний Дворец, никем не заселенный, всегда пустой, кроме случаев приезда в столицу царствующих иностранных особ, тогда и Великий Князь Николай Николаевич живет во Дворце. В этот караульный день гостил в столице Король Датский, брат вдовствующей Императрицы Марии.

Но занимал он небольшие апартаменты и Дворец в целом все-таки оставался, как всегда, пустым. Слабо освещенные экономическими лампочками, сотни комнат представляли какой-то гулкий погреб. Его мрачные коридоры и лестницы знали только караульные начальники и разводящие. Часовые же совершенно не знали плана Дворца.

Пока расходились смены, Дворец на время оживал и наполнялся живым гулом.

Но когда возвращались разводящие в караульное помещение, Дворец снова погружался в жуткую тишину, непонятные шорохи, какие-то приглушенные звуки, неизвестно откуда шедшие, но разносившиеся по пустым коридорам и увеличивающиеся как рупором.

На пост № 3-ий у «Бриллиантовой комнаты» встал юнкер Курбатов. Осмотрев внимательно печати и замки, он затаился в одиночестве. Пост был самый неинтересный, хотя и самый теплый. Бриллианты боятся сырости, и потому температура здесь поддерживалась высокая и градусник, висевший на стене и находившийся под сдачей часового, показывал 28 гр. по Реомюру.

Затянутый в зимнюю форму с папачкой на голове, часовый парился в собственном поту.

Извне не доносилось никаких посторонних звуков, и только над головой гулко раздавались удары конских копыт и грохот экипажей, проезжавших по набережной Невы.

Из дворцовой кухни тянуло раздражающими желудок запахами приготовляемой снеди. Часовой на этом посту имел винтовку, заряженную 4-мя боевыми патронами, и держал ее у ноги. Шашка была в ножнах. Это был единственный пост настоящей охраны. Сдача поста была вызубрена юнкером на зубок.

«Пост № 3-ий, у «Бриллиантовой комнаты». Часовой обязан охранять вход в нее и никого не допускать, кроме Заведующего Камеральной частью Кабинета Его Величества, или лица его заменяющего, полицеймейстера Зимнего Дворца или его заместителя. Под сдачей находятся: две печати, два замка, свисток, коврик и термометр».

– Почему у Заведующего Камеральной частью «лицо его заменяющее», а у Полицеймейстера Дворца «его заместитель», какая разница? – раздумывал часовый, повторяя несколько раз текст сдачи на тот случай, если кому-либо из начальствующих лиц вздумается проверить его обязанности.

* * *

Всего только несколько дней назад совершенно неожиданно в Училище приехал Государь Император.

Все знали, что после «выстрела на Водосвятии» в Петропавловской крепости в 1905 году, когда шрапнельный заряд разорвался над головой Государя, Он перестал посещать воинские части.

Выстрел, как установила комиссия, был случайный, но небрежность остается небрежностью, и Государь был недоволен.

Прошло четыре года после этого несчастного случая, волею Божией окончившегося благополучно, и Государь снова решил начать объезды своих любимых войск. Первый почетный случай выпал на Николаевское кавалерийское училище, отмечая этим особую честь училищу.

Начальник училища ген. Девитт воспользовался случаем предоставить Курбатову, занимавшемуся в свободное время скульптурой, поднести свою, хотя еще и неоконченную, работу «Пластун в дозоре» Государю.

И вот Курбатов стоит перед тем, видеть кого он мечтал всю свою еще тогда короткую жизнь, и Государь говорит с ним.

После счастливого дня Курбатов просто не находил себе места. Отказался от еды, ходил сам не свой. Сосед его по столу Саша Мурзаев с аппетитом поедал его порции, приговаривая:

– Почаще бы к тебе приезжали такие гости.

– А вдруг сам Государь придет сюда посмотреть, как стоит он тут на охране его драгоценностей? – мелькнула наивная мысль у молодого человека. – И вдруг по гулким коридорам отчетливые шаги...

– Что-то рано. – Решил юнкер. – Неужели уже смена? – Прислушался. Действительно, шло двое, четко отбивая шаг. И Курбатов сейчас же увидел спускающихся к нему двух юнкеров. Это был разводящий с новым часовым.

– Стой! Кто идет? – громко кричит часовой.

– Смена, – отвечает знакомый голос разводящего.

Оба часовых становятся рядом один с другим, лицами в разные стороны и производят словесную сдачу поста.

Пост сдан. Разводящий уводит Курбатова наверх по лестнице.

– В чем дело? – спрашивает обеспокоенный юнкер. – Не случилось ли чего?

Но разводящий молчит и только в ответ на настойчивые просьбы Курбатова, грубо ответил:

– Не разговаривать!

– Ну хорошо, наму я тебе бока после караула в училище, – пообещал ему мысленно Курбатов, зная характер разводящего преувеличивать всегда события и также свое значение. Но бодрое настроение покинуло Курбатова, когда разводящий повел его не в комнату, где отдыхали юнкера, а в дежурную к караульному офицеру. Душа его буквально ушла в пятки. Все представилось ему: он задремал на посту, дворцовый шпики подсмотрел и донес, и вот теперь его ждет возмездие.

Войдя в помещение дежурного офицера, Курбатов так и ахнул. Перед ним стоял на вытяжку поручик в фельдъегерской форме, рядом Начальник училища, дальше «Шакал» и наконец дежурный офицер. Курбатов замер с винтовкой у ноги.

– Познакомьтесь, – проговорил Начальник Училища, протягивая в свою очередь руку юнкеру, чего не делается никогда, кроме встреч в частных квартирах.

– Еще издевается, – подумал юнкер. Но фельдъегерский офицер уже тоже протягивал ему свою руку. Курбатов подал.

Тогда фельдъегерь протянул ему большой конверт. Курбатов взял в руки и почувствовал неестественную для бумажного конверта тяжесть. Он пальцами левой руки старался угадать груз, но Начальник училища взял из его рук конверт и вскрыл.

Из конверта он вынул другой конверт небольшого размера и не заклеенный. Вскрыв его, выронил на ладонь золотую монету величиной в рубль, но толще. На конверте тем временем Курбатов прочел:

«Послать эту монету юнкеру Курбатову».

«Золотая монета в два с половиной империяла весом 32 золотника 44 доли», – читал тем временем Начальник училища надпись по краям монеты.

Сон стал действительностью.

Курбатова поздравляли все. Дежурная комната наполнилась откуда-то появившимися юнкерами отдыхающей смены. Конверт с монетой пошел по рукам. Курбатов все еще не мог прийти в себя.

– Государь Император сегодня вечером в и ночи за ужином вспомнил о вас и приказал передать вам этот пакет, – докладывал фельдъегерь.

Через семь лет в столовой Штаба армии Курбатов встретил этого фельдъегера, бывшего в чине капитана, и представился ему, напомнив о знакомстве в Зимнем Дворце. Тот промолчал. Это был 1917 год, когда Государь уже отрекся. И фельдъегерь отрекся от Государя.

На посту у Кордегардии стоял в тот же час донец Федя Шляхтин, друг Курбатова. Он прислушивался к воюющей буре за оградой Дворца, присматривался к освещенным окнам апартаментов Великого Князя Николая Николаевича. Смотрел на высокую тень,двигающуюся за высоким окном, и думал:

– Не спит. Чего ему не спится? Час самый сонный, когда и лошади спят, а он не спит. – Потом ему припомнилась родная станица Усть-Медведицкая, широкая река, лодка и он на ней ловит сазанов. Потом сазан обратился в милостивую устьмедведицкую гимназисточку, симпатию Феде, и они целуются в густых кустах сирени на Пасху: христосуются. Федя улыбнулся потому, что в тот же вечер он целовался с другой гимназисточкой в других кустах сирени...

Вдруг окрик:

– Фельдъегерь Его Величества!

Федя, услышав такой высокий титул, как «Величество», с размаху хватил два раза в вызывной колокол, которым вызывается или караульный начальник одним ударом в колокол или двумя для вызова всего караула, когда возле пожар, или насилие, или приезжает сам Государь во Дворец.

Когда Шляхтин услышал, что от Главных ворот ему передает часовой, он, не разобрав, бахнул два раза в колокол и только тогда сообразил, когда мимо него проскочил в Кардегардию фельдъегерь. Ему навстречу выбегал весь караул в полной боевой готовности. Мороз пробрал по коже незадачливого кандидата в портупей-юнкера (Шляхтин мечтал об этом звании), и он уже прикидывал, сколько суток ареста ему пожалует «Шакал» за его ошибку.

А в это время, всему гарнизону известный, свирепый голос кричал в трубку телефона:

– По-че-му два звонка? Кто приехал?! – Голос принадлежал Вел. Князю Николаю Николаевичу.

Вернувшись из караула, заспанные юнкера продолжали нести всю ту же службу, словно они и не были в карауле. Маленький Догадин забрался под кровать и решил доспать потерянные часы. Сладко задремав, он вдруг услышал голос Начальника училища, делавшего выговор дежурному по сотне портупей-юнкеру за то, что из-под кровати торчит кем-то брошенный сапог.

Когда Начальник училища распекал портупей-юнкера, Догадин проснулся и, не зная, где находятся говорившие, потихоньку потянул свою ногу под кровать...

Обомлевший портупей-юнкер едва держался на ногах, а Начальник Училища, встретивши не менее пораженный взгляд командира сотни, взглянул на него и, ничего не сказав, вышел из помещения третьего взвода.

Но Догадину пришлось досыпать свой сон уже в карцере...

* * *

Кеша учился так, чтоб только окончить училище по первому разряду, для того, чтобы получить вакансию в желаемый полк, стоявший недалеко от его станицы (конечно, недалеко по сибирским масштабам). Ни гвардия, ни академия его не привлекали. Строевая служба в полку, отличившемся в последнюю войну, охота, рыбная ловля, конь и скачки. Вот его идеал кавалериста-казака. Полу-бурят, полу-украинец по крови, он таил в себе древние задатки кочевника, борьбу за существование, преданность родному Войску и считал, что физическими качествами офицера должны быть прежде всего: выносливость, нетребовательность и смелость. И потому он стоял на первых местах по строевой подготовке своего курса. В Училище было прекрасно поставлено физическое воспитание. Гимнастика, фехтование на эспадронах, рапирах, вольтижировка и джигитовка. С первых дней он как-то увлекся конным спортом, и фехтование отошло на второй план. Тяжелая металлическая сетка, закрывавшая глаза, тяжелый неуклюжий кожаный, вроде кузнечного, фартук стеснял движения, хотя и защищал хорошо самого. Маска давила на дыхание.

В училище инструктором по фехтованию был штатский инструктор из Офицерской фехтовальной школы. Но кроме него юнкера проходили двухсторонний бой с унтерами из кавалерийских полков.

У Кеши инструктором был ловкий Владимирский улан. Он очень вежливо поправлял Кешины недостатки, но, очевидно, в конце концов ему это надоело, и он с ноткой, не допускающей никакого подозрения у провинциала, спросил:

– Вы, господин юнкер, случаем не художник?

Наивный Кеша, не поняв всей иронии солдата, ответил чистосердечно:

– Да, я немного рисую.

– А, так вот почему вы мажете эспадроном, как кистью маляр. Защищайсь! – неожиданно крикнул он, и начал лупить растерявшегося юнкера по самым неожиданным местам. Кеша только извивался, как уж, под его молниеносными ударами и шипел, как гадюка, от боли, от щипков головки эспадрона, жалившей, как разъяренная оса. Улан же не давал ему опомниться и все нападал, пока не попал ему случайно по неправильно выставленной левой руке, занятой чесанием ушибленного места на ягодиче.

Кеша взвыл от боли и злости, покраснел так, что это было видно через проволочную маску, вспыхнул весь внутренне и бросился на улана, как на настоящего врага. Кровь предков закипела в нем со всею яростью кочевника.

Удары его посыпались на улана, как пули из пулемета. Несмотря на свою опытность и ловкость, улан успел получить немало хороших ударов тоже по неожиданным местам. Кеша все налетал и налетал на него, как вихрь. Уже соседние пары оставили свое занятие и смотрели на оригинальную дуэль солдата с юнкером.

Улан, очевидно только из приличия, покрывал, прибавляя:

– Вот так, вот хорошо, правильно. – Еще раз! Так! – Но Кешу уже невозможно было удержать. Он замахнулся и хватил улана изогнувшимся эспадроном так, что тот ударил улана по затылку. Удар, конечно, был неправильный, но ловкий, потому, что опытный улан не смог увернуться.

Улан быстро сорвал маску и, опуская эспадрон, почесывал затылок.

– Из вас, господин юнкер, выйдет отличный фехтовальщик, – сказал он, улыбаясь. Он, видимо, не сердился и не обижался на Кешу. Кеша тоже смотрел, улыбаясь, на своего временного врага.

«И были вечными друзьями солдат, корнет и генерал».

Улан же не ошибся. Кеша получил от него хороший урок и впредь занимался только с ним, но также получил и хороший жизненный урок: не верить льстивым комплиментам и не принимать все за чистую монету.

* * *

Будучи хорошим ездоком уже на младшем курсе, Кеша всегда попадал во всевозможные состязания и конкуры. Так, ему пришлось джигитовать в Михайловском манеже вместе с другими юнкерами при сборе средств на постройку в саду Училища памятника славному питомцу «Славной школы» Лермонтову.

Сначала была фигурная езда юнкеров эскадрона и езда с дамами. Потом джигитовка юнкеров сотни.

Лихо вылетали на полном карьере Бабиев, будущий кубанский герой, Шкура, будущий Шкуро, Агоев Костя, Аeanов Николай, Зимин Миша, братья Акутины, уральцы, Мякутин оренбуржец, Ногаев, Шляхтин донец, Курбатов уссуриец, Чулошников и Михайлов оренбуржцы, вахмистр Зборовский – лихой будущий конвоец, и много-много других лихих наездников показали себя в этот день.

Аплодисменты фигурной езде эскадрона смешались с аплодисментами казакам, ложи, наполненные исключительно избранной публикой, полны были хорошенькими женщинами и девицами, они хлопали ладошками, что-то кричали, в восторге от умения и ловкости юнкеров эскадрона и сотни.

Казачьими песнями закончился этот конкурс.

Михайлов на этом конкурсе был оригинален, как всегда. Он на полном карьере свалился с лошади, приведя в ужас женскую половину лож. Сделал он это умышленно так ловко, что у зрителей получилось полное впечатление, что он свалился по неопытности в езде.

Следующий за ним юнкер повалил рядом с ним свою лошадь и, подхватив Михайлова с болтающейся безжизненно головой на круп своей лошади, вскочил сам на нее и карьером помчался вперед.

– Я говорил, что сломаю себе шею, а буду джигитом, – гордо хвалился он, когда джигиты возвращались домой.

– Михайлов, двое суток под арест, за исполнение не предусмотренного номера на конкурсе! – объявил вечером на поверке «Шакал», тая в углах рта под жесткими усами хитрую улыбку.

«Шакал» любил лихость, и все знали, что Михайлов не будет отбывать это наказание.

* * *

А когда Великий Князь Константин Константинович установил конкурс с переходящим кубком на лучшее Училище по физическому воспитанию, Николаевское Училище участвовало и в нем. Конкурс состоял из состязаний по фехтованию на эспадронах и штыках, незнакомых казакам, не имевшим на вооружении штыка, по рубке лозы, глины и жгута, неизвестных для пехотных училищ и Морского корпуса. Но группы, специально подготовившиеся, вышли на состязание, готовые вырвать переходящий кубок и унести к себе. В конкурсе участвовали: Пажеские классы Пажеского корпуса, гардемарины Морского и юнкера Павловского, Владимирского пехотных, Константиновского и Михайловского артиллерийских и Николаевского

кавалерийского училища, в общем, все петербургские военные училища, кроме топографического.

Состязание состоялось в апреле месяце в здании Первого кадетского корпуса. В комиссию входили лучшие спортсмены Петербургского Военного округа, с известным всем полковником Мордовиным во главе, под почетным председательством Великого Князя Константина Константиновича, Начальника всех Военно-учебных заведений в то время.

Каждое училище выделяло известное количество участников в процентном отношении к своему составу. От Николаевского кавалерийского училища вышло 14 человек – по 7-ми от эскадрона и сотни. Юнкера эскадрона вместе с казаками отстаивали честь своего Училища. От сотни были Мурзаев, Булавинов, Курбатов, Шляхтин, Чулошников, Лиманский и Аргунов. Ребята все крепкие и сильные. Целый месяц их муштровал один из офицеров сотни, низенький толстенький донец, очень мягкий на вид, но жесткий по существу. Это только по рубке. По другим видам спорта юнкера других смен упражнялись со специальными инструкторами, теми же самими, что и в других училищах.

Кеша был в группе по рубке. Судьбе было угодно, чтоб он первый показал себя на этом поприще.

Нужно было сначала разрубить 22 связанных в фашину лозы чистым ударом так, чтобы на разрезе не было царапин. Только абсолютно чистый удар засчитывался за состязующимися.

Кеше подали отточенную, как бритва, шашку, смазанную маслом. На него смотрели все состязавшиеся и комиссия. Кто был страшнее для юнкера, строгая комиссия или свои товарищи, не простившие бы ему никогда неправильного удара? Пожалуй, и то и другое вместе. Но было еще и третье: слава или позор родного своего Войска.

Кеша взмахнул шашкой. Пройдя сквозь связку, клинок опустился, отрубленная часть фашины упала, воткнувшись острым срезом в опилки.

Наступила мертвая тишина. Комиссия, встав с мест, приближалась к Кеше. Все всматривались в разрез и о чем-то спорили. О чем – никто не знал, но каждый предполагал, что при правильном ударе спора быть не должно бы. Жутко было ожидание.

– Скисовал, брат, – слышит Кеша позади себя.

Но сколько укора, сколько упрека в этом «скисовал, брат». Сколько осуждения.

– Лоза не перерублена, а перебита сильным ударом, – доложил полк. Мордови Великому Князю.

Константин Константинович подошел к Кеше, потрогал его крепкие мускулы и, обернувшись к Комиссии, проговорил:

– Не хотел бы я попасть под такой «неправильный» удар. Предлагаю дать юнкеру повторить удар. При первом он мог волноваться. Разрешаю повторный, который и зачтем в случае, если он будет лучше.

Комиссия отступила. Кеша снова взялся за поданную ему новую шашку. Медленно подводя клинок к цели, он замахнулся.

– Нужно не с силой рубить, а только правильно направить удар, силы у вас хватит, – услышал он возле себя. Это говорил один из казачьих урядников, присутствующих на состязании в качестве прислуги – видимо, тоже переживавший вместе со своими «юнкерами» напряженный момент для училища. Кеша послушался совета и точно опустил клинок на лозу.

Он не видел и не слышал, как упал обрез и, открыв глаза, увидел приближающуюся снова комиссию в полном составе. Великий Князь поднял с земли обрубок и проговорил, обращаясь к полк. Мордовину:

– Удовлетворены?

– Удар чист. – Ответил полковник Мордови.

– Николаевскому Кавалерийскому училищу засчитывается второй удар! – Объявил секретарь комиссии.

Общий вздох облегчения пронесся над кучкой юнкеров-николаевцев. Вздохнули и юнкера и вестовые. Только сменный офицер Кеша сотник Папырь, ненавидевший Кешу, крутил свой жиденький усик и смотрел в сторону, как будто это его не касалось.

Вторым пошел Мурзаев. Он, как соломинку, перехватил фашину. За ним так же Булавинов, Лиманский, Курбатов и Шляхтин. После всех Чулошников. Он рубил левой рукой. Мордовии опротестовал. Тогда Великий Князь спросил Чулошникова:

– Ты можешь и правой?

– Так точно! – Гаркнул Чулошников, делая безразличное лицо, словно подчеркивая: «нам, мол, оренбуржцам, что ни подай, все перехватим за милую душу». И перерубил фашину и правой рукой так же чисто.

– Да! – Коротко, после некоторого раздумья, проговорил Великий Князь.

Потом пошла рубка жгута толщиной в человеческую руку, но натянутого слабо, с целью вызвать режущий удар. Здесь все прошло, как у казаков, так и у эскадронцев, без сучка и задоринки. Но вот началась рубка глины.

Давно уже выбыли из строя остальные училища по рубке, остались только Николаевское и Владимирское пехотное.

В других углах огромного зала шла борьба за кубок между моряками и пехотинцами, там же юнкера николаевцы дрались на штыках и эспадронах. Битва была отчаянная. Здесь же, в этом углу, встретились два «врага».

Старинная «Славная школа» и только что получившее права военного училища бывшее окружное юнкерское Владимирское. За первыми старые традиции «школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» и лихих казачьих рубак, за Владимировцами их будущее. Уже более двух часов идет тут состязание и все с тем же результатом: 96 % у обоих.

Уже несколько раз рубили глину. У тех и других одинаковые результаты. У Николаевцев 14 человек, у Владимировцев 24.

Комиссия, посоветовавшись, решила поставить непредусмотренный состязанием размер глины, именно в 8 на 8 вершков.

Нужно заметить, что высота куска глины облегчает удар, так как не позволяет своим давлением выйти шашке из плоскости удара. Восемь вершков при толщине – это уже каверзная штука. Тут ширина может подвести.

Но снова прошли оба Училища и снова одинаковые успехи. И снова совещается комиссия. Общим решением пришли к установке того же куска глины на 8, но с критической полосой поперек в один вершок, из которой клинок не должен выходить, соблюдая, конечно, и все предыдущие требования.

Опять новые шашки, смазанные маслом, опять вздохи и волнения, и вот снова Кеша подходит первый, как самый низенький из всех рубак.

– Господи, благослови, – шепчет он, как никогда потом в жизни. Лучше провалиться на экзамене по артиллерии, презираемой кавалеристами, чем оскандалить здесь вот на этом куске глины Училище.

Так чувствовал, наверно, каждый из состязавшихся, Николаевцы и Владимировцы. Только офицеры делали вид, что они совершенно не заинтересованы, осматривая потолок манежа с безразличным видом, хотя всякий знал, что и у них скребут кошки на сердце. Владимировцы и Николаевцы с одинаковым вниманием смотрят на Кешу. Одни желают ему успеха, другие провалиться. На него смотрит комиссия и Великий Князь.

– Неужели я окажусь тем, на кого целый год будут указывать пальцами юнкера, и так уеду в полк с этим аттестатом? Или слава о нем, как и о всех участниках, останется жить целый год в стенах любимого училища? Господи!..

«Победителя не судят. Побежденного презирают». Таков закон.

Кеша несколько раз примеряет клинок и снова опускает руку, словно оттягивая ужасный момент провала. Наконец, решается.

– Чи-и-и-к! Слышится в общей тишине. Кеша смотрит на глину и не верит глазам. Глина стоит на месте... На ней две полоски, начерченные комиссией, и между ними широкая полоса пройденного пути шашки...

Прошли Шляхтин, Мурзаев. Все Николаевцы прошли благополучно. У Владимировцев один «скиксовал».

Кубок остался за Николаевским кавалерийским училищем.

Между прочим, когда еще рубили глину вертикальным ударом, Мурзаев вместе с глиной рассек и подставку.

* * *

Кеша возвращался в училище героем. Ему казалось, что именно он то и есть самая главная причина выигрыша приза. Так наверно чувствовал себя каждый из победителей.

– Нужно, господин юнкер, делать все аккуратно. – Вспомнились ему слова училищного кузнеца Кузнецова на первых практических занятиях по ковке лошадей.

Тогда же Кеша спросил его: почему необходимо забивать ухналь точно до одного миллиметра и Кузнецов ответил:

– Ежели Вам, Ваше Благородие, разрешить вбивать ухналь на миллиметр выше, то вторая ухналь придется еще выше и третья еще и четвертая – как раз, аккуратно, – в мясо коню. И пропала лошадь. Понимать надоть, – добавил кузнец, чтоб, очевидно, смягчить немного резкость. Тот же Кузнецов, обучая Кешу, как пригонять горячую подкову к копыту, умышленно подал ему из своих рук горячую подкову.

Кеша, рассчитывая, что если кузнец может ее держать голыми руками, взял тоже в руку без рукавицы и приварил себе пальцы. Он бросил подкову на пол.

– Тяжелая? – Улыбнулся Кузнецов. Кеша молчал.

– Вот теперя будете знать, Ваше Благородие, почему у кузнеца Кузнецова такие мозоли на ладонях.

Кеше было обидно за обожженные руки, за свою доверчивость, но рассердиться на кузнеца он не мог. Это была школа. И Кеша лишь проникся уважением к Кузнецову и к его мозолям и тяжелому труду кузнеца.

Тот же Кузнецов, когда у юнкера что-нибудь не удавалось при ковке, тайком от ветеринара, приват-доцента Лавриновича, преподавателя иппологии юнкерам, сам делал все за юнкера.

«Нужно быть точным и аккуратным», добавлял он всегда свою «лекцию».

* * *

Кончилась зимняя учеба в городе, и училище в конном строю вышло в лагерь под Красное Село на берег Дудоргофского озера. Началась летняя практическая работа по топографии и усиленные строевые занятия целой сотней в конном строю. Об отпусках в город думали мало, так как для казаков было дорого путешествие в город, не имея к тому же там никого знакомых. Редкие юнкера-казаки отправлялись в столицу. Остальные проводили воскресенья в бесполезном лежании на траве или катании на лодках по озеру.

Но и эти катания были под строгим наблюдением объединившихся соседних училищ. Так, в Михайловском артиллерийском училище у дежурного офицера была сильная подзорная труба, в которую он наблюдал за озером и сообщал, чья лодка отправилась в густоту камышей и

еще хуже, если на ней оказывались и дачницы. Тогда отправлялась в камыши дежурная лодка, и «преступников» вместе с дамами вылавливали.

Там, где люди, всегда есть и плохое и хорошее. И странно было бы, если в Военном училище, где всякий маловажный проступок считался важным, а важный – преступлением во имя присяги, не было бы плохих юнкеров и нелюбимых офицеров. В сотне юнкеров, где традиции сильно уступали место воинскому уставу, дисциплина доходила нередко и до крайности. Ничего подобного в эскадроне не было. Там, пожалуй, традиции чтились выше, нежели устав.

Там, например, юнкер мог быть отпущен в отпуск командиром эскадрона, но задержан каким-нибудь лихим «майором», и юнкер предпочитал не перешагивать через традиции, и не подчинялся в данном случае командиру эскадрона. Конечно, традиции исполняли тайно, при общем согласии всего эскадрона, и горе было тому, кто попробовал бы противиться традиции. Тогда ему «курилка» ставила в воздухе «палевую» (так как красная была неприлична и тогда) точку и он подвергался остракизму. Редкие случаи были неповиновения традициям. И нужно было иметь огромную силу воли, колоссальную принципиальность, чтобы идти против целого водопада юнкеров, как старшего, так и младшего курса.

С таким нарушителем никто, кроме как по службе, не разговаривал. А как хочется в закрытом учебном заведении поделиться своими впечатлениями и вообще иметь друзей в такие годы. Но был случай, когда вахмистр эскадрона оказался «красным». Но зато, когда он, уже будучи генералом, попал в общество бывших своих однокашников, то его «завращали» и буквально зацукали в приседаниях. Это генерал а-то?! Такова сила традиции.

И в ней есть своя прелесть. Она развивала чувство товарищества больше, чем дисциплина, прививала любовь к своему училищу и уважение к старшему по чину, не уставному уважению, а сознательному.

Как ни боролось начальство с этими традициями, при которых особенно преследовался так называемый «цук», можно с уверенностью сказать, что и Великие Князья, дети Константина Константиновича, приседали где-нибудь в укромном месте и вращались на 180 по команде какого-нибудь отчаянного «полковника».

В лагерях был обычай вследствие сырости выводить всех на вечернюю зорю в шинелях.

Так, в один из летних вечеров сотня стояла на передней линейке, построенная для проверки и «зори». «Зоря» производилась по общей команде из Главного лагеря под Красным Селом выстрелом из пушки.

По этому знаку все войска начинали играть «зорю». Бодрые и монотонные звуки пехотных рожков сливались с грохотом барабанов и мелодичным пением кавалерийских труб. Войска стояли в ожидании этого «концерта», если так можно его назвать. Иногда долго не ударяла пушка и вот, чтобы скоротать как-нибудь скучное время, юнкера покупали у сновавших всегда возле лагерей мальчишек семечки и шелкали их, отправляя семечко в рот, а шелуху в карман, чтобы не сорить. Так было и в этот вечер. Кеша тайком пощелкивал семечки, находясь (по традиции) в первой шеренге, так как старшекурсники стояли в задней, чтобы не быть видимыми дежурному офицеру.

Неожиданно, стоявший на линейке перед строем юнкеров сотник Пупырь обернулся. Кеша не успел опустить руку, подтянутую для отправки семечка в рот, и получил замечание. Все бы могло сойти хорошо, но стоявшему позади Кеша юнкеру старшего курса вздумалось передразнить сотника его же хриплым голосом. Сотник обернулся и решил, что это сделал Кеша и приказал ему после «зори» явиться в дежурку. Такое приглашение ничего хорошего не предвещало.

И вот через полчаса Кеша перед грозными очами сотника.

– Почему Вы позволяете себе меня передразнивать? – спросил он Кешу.

– Я Вас, господин сотник, не передразнивал, – ответил Кеша, вытягиваясь во фронт.

– А кто же?

– Я, господин сотник, Вас не передразнивал, – снова доложил Кеша.

– Я Вас спрашиваю, кто? – не сдерживая себя, крикнул сотник.

– Я не могу этого сказать, – ответил Кеша.

– По-че-му?

– Это дело того, кто передразнивал.

– Но Вы-то знаете, кто?!

– Так точно, знаю, – ответил Кеша.

– Так потрудитесь мне доложить, кто это сделал.

– Я не могу назвать, – ответил Кеша.

– Я Вас спрашиваю в последний раз, почему? И если Вы мне не ответите, то извольте помнить, что за отказ выдачи виноватого Вы ответите за него.

– Слушаюсь, господин сотник.

– Назовете?

– Никак нет, господин сотник.

Сотника видимо бесило спокойное на вид состояние юнкера. Но в действительности Кеша едва сдерживал себя. И наконец, когда сотник в последний раз пригрозил ему, Кеша ответил:

– Я юнкер Николаевского кавалерийского училища, Вы сами, господин сотник, были здесь юнкером...

Но он не договорил. Потерявший равновесие, сотник закричал на юнкера, как не имел права кричать:

– Что??? Что за кадетские рассуждения? Вон! Позвать взводного портупей-юнкера вашего взвода и сейчас же под арест!

Сотник сел к столу и, не глядя на Кешу, принялся писать препроводительную в карцер записку.

Кеша вышел и столкнулся с целым роем рассыпавшихся от него юнкеров.

– Молодец, Кеша, молодец, Аргунов, не выдал, так и нужно, пусть знает, что мы не кто-нибудь! Сам пропадай, а товарища выручай! Дай карася подержаться!

К нему тянулись десятки рук с рукопожатиями. Но на сердце у Кеши было скверно.

– Ну, вот что, друг, вали-ка прямо к «Шакалу», он хоть и свиреп, но не подлец, это я тебе говорю, – услышал Кеша слова друга Феди Шляхтина, и решил отправиться к командиру сотни без предварительного разрешения от того же сотника, как прямого и ближайшего своего начальника. Но нужно было действовать. Сотник мог передать весь эпизод в ином виде. И Кеша пошел.

Командиру сотни он все рассказал, как было, умолчав только об имени виновника. Греков не настаивал подобно сотнику. Он долго молчал, видимо что-то думая, потом сверкнул своими серыми глазами, как он бывало сверкал ими, когда водил сотню на Царские смотры, и сухо проговорил:

– Сту-пай-те! – Кеша вышел.

Неожиданно вышел приказ училищу выйти на маневры в район г. Луги. Там стоял целый пехотный корпус, но не было кавалерии. Поэтому из Петербургского военного округа туда были выделены две конных части: Николаевское кавалерийское училище и Лейб-гв. Казачий Его Величества полк.

Это уже были бы настоящие маневры, не то, что под Красным Селом, где не только каждая деревушка была известна, но и все дороги и болота были пересечены не раз юнкерами. В малонаселенном Лужском районе, как известно, леса, болота и пески. Редкие деревушки и малопроезжие речонки.

Но все-таки новое привлекало и юнкера ушли на маневры с удовольствием. Знали, что там новый командир корпуса из отличившихся в Японскую войну командиров полков ген.

Лечицкий, строгий и требовательный, но это обстоятельство еще более увеличивало интерес показать себя.

Мы, мол, петербургские, не какие-нибудь провинциалы, а почти что гвардия.

Немного волновало известие о том, что офицеры Лейб-гв.

Казачьего полка обещали казакам своим по полтиннику за каждого пойманного на маневрах юнкера Николаевца. Может быть, это был только слух, пущенный училищным начальством или самими казаками, но это известие подхлестнуло юнкеров, знавших по Красному Селу казаков.

Темные августовские ночи начались быстро. Черные тучи ночами закрывали все небо, на псковских дорогах темно от теней соснового леса, куда жутко даже показаться. Глубокий песок заглушает конские шаги, ничего не видно и не слышно. За каждым кустом чудится «страшный лейб-казак» с серьгой в ухе и черной цыганской бородой. Лошади у них у всех отличные и лучше, чем многие у юнкеров. Удрать от такого голубчика трудно, но попасться ему в лапы – значит опозорить свое Училище, сотню и родное Войско.

– Если попадешься, бей прямо по морде, – советует кто-нибудь.

– А если он даст, тогда с мокрым носом приехать с донесением тоже совестно, – отвечает другой.

Известно, что на маневрах бывают и драки, особенно в коннице, когда она на разведке далеко от посредников, или когда столкнутся где-нибудь в глуши два противника. Тут уж нет никаких правил справедливости. Плененный часто вырывается и утаскивает своего захватчика. Разбирай, кто кого подкараулил...

Конечно, мальчику-юнкеру не утащить и не стащить с коня громадного лейб-казака, отца семейства и пахаря.

Ногаев возвращался с донесением к командиру одной из пехотных дивизий «синих». Ехал шагом по песчаной дороге, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к каждому шороху. А шорохов было много. Еловые и сосновые ветки непрерывно шелестят под ночным ветерком. Зрение у Ногаева отличное. Он природный степняк.

Как будто немного начало рассветать. Что-то побелело на востоке. Природа приняла неопределенный цвет, все стало бледным и однотонным, но все равно различимость была плохая. Лошадь под Ногаевым осторожно ступала по песчаному грунту, словно понимала, что нужно быть начеку.

Вдруг сильный разбойничий свист пронизал воздух. Лошадь под Ногаевым присела и, получив шенкеля, рванула вперед, потом в сторону. Ногаев обернулся и увидел здорового казачину с черной бородой, выскочившего из можжевельника и устремившегося за Ногаевым.

Ногаев успел проглотить бумажку с донесением и вылетел на берег топкой речонки с невысоким берегом метра в полтора. Уже слышит, как за ним ломится сквозь кусты, как медведь, лейб-казачья лошадь.

– Неужели цена мне полтинник? – подумал Ногаев и, хлестнув своего рыжего мерина, ринулся с ним в реку.

Тучи брызг и грязи взвились над ним и, зажав уши коню, он плыл на нем на противоположный берег.

Теперь он был спасен, зная, что за полтинник казак не полезет пачкаться в болоте.

Он оглянулся и увидел стоящего на берегу на вороном коне бравого гвардейца, улыбающегося во весь рот.

– Полтинник за мной, – крикнул ему Ногаев.

– Возьми себе, не жалко: заработал, – ответил ему лейб-казак и, повернув своего скакуна, скрылся в кустах, очевидно поджидая новую дичь.

Сильно выматывали силы разъезды и еще больше сторожевое охранение и гонка с донесениями. Командующий корпусом был очень доволен юнкерами и после маневров дал два дня отдыха перед отправкой их в Петербург.

Кеша в последние две ночи не спал совсем, находясь на заставах. Нужно было выследить обходную колонну – и юнкера на заставах не спали.

Но в первый же день отдыха сотник назначил в караул к училищному штандарту среди других и Аргунова. Начальником караула был Асанов, ожидавший производства в офицеры по приезду в Красное Село.

В версте от небольшой деревни, в которой стояла сотня, была какая-то пустая сторожка, куда и поставили караул с штандартом. Ночью пошел сильный дождь и вот в самый тяжелый час Кеша вышел на свой пост.

В караульном помещении остался караульный начальник, он же и разводящий, и двое отдохнувших от смен часовых. Спать имел право только один из них. Остальные должны были бодрствовать сидя.

Кеша простоял, как ему показалось, очень долго. Но Асанов не сменял его. Стоял он под окном сторожки против часов-ходиков.

Там внутри горела кухонная висючая лампочка, и стоял завернутый в чехол училищный штандарт.

Никто бы его не украл, но часовой обязан охранять даже пустое место так же, как и ценное, если он поставлен на пост. Кеша прислушался. В караулке спали. Он посмотрел на ходики: они стояли.

Какие-то подозрительные шорохи все время слышались сквозь дождь. Казалось, что или зверь бродит невдалеке или домашнее животное или какой-нибудь пьяный забрел в лес. Даже однажды показалось юнкеру, что кого-то вырвало или козел проблеял. Кеша окликнул. Никакого ответа. Еще раз – и тоже самое, но шорохи не прекращались. Кеша мог и стрелять, но боялся убить какого-нибудь крестьянина, забредшего в лес.

Вдруг дождь полил с такой силой, что стоять под ним не было никакой возможности. Кеша позвал Асанова, но ответом ему был богатырский храп всего маленького караула. Кеша не знал, как быть, и наконец решился. Открыл дверь в караулку и вошел в нее, чтоб разбудить Асанова.

И не успел он толкнуть его, как дверь снова отворилась, и на пороге появился дежурный офицер сотник Пупырь.

Кеша выхватил пашку, но сотник исчез так же быстро, как и появился. Асанов проснулся и вывел другого часового. Как сказалось, Кеша простоял лишний целый час.

* * *

В помещении он, не снимая оружия, повалился на нары и заснул крепким сном. Только уже утром, в 9 часов, Асанов его разбудил и вывел снова на пост.

– Попадет нам за ночь, – забеспокоился Кеша.

– Ничего не будет. Ведь он испугался и удрал, Пупырь-то, – тоже, знаешь, не фасон для офицера. Думаю, что стыдно будет ему докладывать Шакалу, а он его не любит за водочку, – ответил Асанов.

Но не простоял Кеша и часа, как его сменили и отправили под арест.

Училищный суд перевел его в третий разряд, что равно разряду штрафованных, отправил в Питер под арест на 30 суток, и механически Кеша лишился отпуска до выслуги во второй разряд. Асанову ничего не было. Асанов был одного Войска с Пупырем, и тому было просто невыгодно ссориться со своим. Кеша же был из далекого Забайкалья и на него можно было обрушиться.

Утомленные часовые даже на войне, когда настоящий враг близко, засыпают от утомления и нередко и гибнут, снятые противником, но ничто не останавливает людей от риска, когда глаза сами закрываются и бороться со сном нет сил.

Пупыр не должен был ставить на пост неотдохнувших людей. Это и было учтено училищным судилищем. Но наказать для примера нужно было, и Кешу наказали. И если бы не уважительная причина, он был бы разжалован в рядовые и отправлен в полк выслуживать офицерские погоны.

Кеша впал в уныние. Не хотелось жить, искал случая покончить с собой. Но по уставу у арестованного отбирается все, что могло бы быть полезным для самоубийства: перочинный нож, пояс, подтяжки. И спит арестованный без простынь, на которых можно было бы повеситься: на голых нарах и соломе.

Прошло несколько дней. Неожиданно открылась дверь, и в карцер к Кеше вошел «Шакал». Уставившись своими жесткими глазами на Кешу, он своей шакальей походкой приближался к нему. Кеша застыл в ожидании.

– Вы что ж это, милостивый государь, а? – прошипел полк. Греков.

– Виноват, господин полковник, – едва сдерживая слезы, проговорил Кеша. Шакал остановился в шаге от него, глядя в упор на юнкера. Кеша ждал.

– Вы знаете, что Вы подвели Асанова? – Спросил Греков.

– Так точно, знаю, – ответил Кеша, глотая слюну.

– Но Асанова я выпущу в офицеры, не сидеть же ему из-за Вас еще год в училище.

– Покорно благодарю, – вдруг выпалил Кеша, сам не зная, что сказать. Он был так рад, что он пострадает только сам, что готов был пойти на какую угодно сделку.

– Асанова я выпущу, а с Вас, милостивый государь, сниму семь шкур. Понятно?

Греков вышел.

Но почему-то в его стройной всегда фигуре Кеша заметил непривычную согбенность, точно он унес Кешину тяжесть на себе. Китель Грекова непривычно оттопырился и ворот полез куда-то на голову.

– Неужели и Шакал, свирепый Шакал, гроза всего Училища, переживает что-нибудь в этот момент? – подумал Кеша. И как раз Греков обернулся. Глаза юнкера и командира встретились. И тут Кеша увидел в лице шакала что-то новое, незнакомое. Перед ним стоял не командир сотни, а отец семейства, добрый полковник. Кеша не узнал Шакала. Он увидел мягкие, отеческие глаза, непривычные для юнкеров, а полковник Греков уже шептал:

– Не падайте духом. Вы совершили антидисциплинарный поступок, за него ответите, но офицерские погоны для Вас не потеряны, пока я здесь. Спешите заслужить их.

Шакал вышел своей обычной шакальей походкой, за которую его юнкера и прозвали названием этого всегда крадущегося животного.

Кеша упал на жесткие нары и зарыдал. Зарыдал не от строгости начальника, не от казенного окрика, а от ласкового отеческого слова.

Суровый Шакал, никто другой в училище, давал ему, провинившемуся, надежду на спасение.

* * *

Всю зиму Пупыр торжествовал. На Кешу сыпались градом замечания от него, наряды вне очередь и карцера. Сотник явно мстил беззащитному юнкеру.

По училищу пронесся слух, что сотник летом едет жениться к себе в Сибирь, привезет молодую жену и будет зачислен в штат училища, как постоянный офицер.

Тогда гвардейская казачья форма, жизнь с молодой женой в столице, быстрое производство по ведомству военно-учебных заведений, и еще молодым сравнительно человеком можно

стать командиром армейского полка, конечно, у себя в Сибири, и перегнуть своих сверстников по службе, прозябающих где-нибудь на границе Китая в есаульских чинах без всякой надежды на повышение. Пупырь сиял и покручивал свой, никак не хотевший стать солидным, рыжий реденький ус.

И несмотря на предстоящее счастье, у этого человека не хватало души оставить в покое ни в чем не повинного по отношению к нему юнкера.

Кеша бросил учение. Посыпались плохие отметки по тем предметам, по которым он учился хорошо.

– Чего учиться и тратить здоровье, когда осенью его на радость сотника отправят в полк по третьему разряду, – т. е. с погонями вольноопределяющегося выслуживать по удостоению начальства первый офицерский чин. Хорошо, если попадешь к доброму командиру, а если к такому же озверевшему в глуши, как сотник?! И Кеша решил идти снова к Грекову проситься теперь же отправить его в полк... До экзаменов оставался месяц, и не хотелось скандалиться у доски перед товарищами.

Все как-то подтянулись, зубрили днями и ночами, надеялись. Только Кеша валялся на кровати и, задумавшись, смотрел на потолок. Уехать и не показываться даже дома – решил он, переступая порог квартиры полковника Грекова.

– Прошу разрешения подать рапорт о переводе рядовым в Амурский казачий полк Амурского Войска, – отрапортовал он.

– А у Вас там что – родные? Вы же забайкалец? – удивился полковник.

– Не хочу ехать в свое Войско, – ответил Кеша.

Греков долго смотрел на юнкера, потом строго, как всегда, оглядев, коротко кинул:

– Идите и учитеесь. Не валяйте дурака! Заслужите, выйдете офицером по первому разряду. Помните, что Асанова училище выпустило, Вы виноваты не более его. Марш!

У Кеши затряслись ноги, туман застлал глаза и он, повернувшись по всем правилам, направился к двери, но, не найдя ее, больно ударился о косяк головой.

Через неделю Кеша был переведен во второй разряд и принялся готовиться к экзаменам.

* * *

Конечно, сказалось на экзаменах почти полугодичное безделье. Нужно было многое штудировать заново.

И вот на первом же экзамене Кеша увидел, что он плохо подготовлен к ним. Шел экзамен по Военной истории. У доски подтянутый донец Сердюков отчетливо, отмечая схемами и датами на доске, с шиком вычерченными мелом, отвечает о войне 1887–88 годов. Ему попалась защита «Орлиного гнезда».

За ним выходит тонный до последней степени юнкер эскадрона Гентер, собирающийся выйти в 13-ый Нарвский гусарский полк лишь потому, что в нем не разрешено жениться ранее чина ротмистра. Ему сейчас не достает только монокля, настолько он тонен. С искусственно беспечным видом этот юноша отвечает на все вопросы правильно. Правда, он называет революционные организации 1905 г. «подонками общества» и вызывает улыбки у юнкеров и у экзаменаторов, но остается верен себе. Он тонный нарвский гусар не более, не менее. Ему попался билет «Японская война» и он считает нужным осветить и причины ее поражения и на внутреннем фронте.

После него выходит к доске Кеша. Ему выпал билет № 48-й, которого он не успел прочитать, как следует. Это «Петровские войны». Они так непонятно и сумбурно описаны в учебнике, что-то видимо замалчивалось, что-то преувеличивалось, а записок у Кеши не было, потому что он последние дни даже не посещал лекций, спасаясь под кроватями вместе с некоторыми юнкерами, уверенными в провале.

По правилу, юнкер мог отказаться от билета и выбрать другой. Что Кеша и сделал. Вытащил билет и прочел его содержание.

«Что там у вас?» – спросил экзаменатор.

«Содержание первого билета, т. е. 48-го», – ответил Кеша совершенно упавшим голосом.

«Что такое?» – вытянув шею в тугом воротничке и потому покраснев, спросил начальник училища генерал Девитт.

Кеша повторил.

«Странно, почему такое совпадение?» – удивился генерал. И обратился к экзаменаторам. Те начали рыться в куче билетов и что-то ему показывать. Третьего билета не разрешалось вытягивать, но генерал, видимо, помня, как хорошо учился этот юнкер на младшем курсе и как начал сдавать после несчастья с ним, разрешил ему вытянуть на счастье еще один билет. Кеша потянул.

«Ну? – спросил генерал. – Какой?»

«Содержание обоих предыдущих моих билетов», – ответил Кеша, опуская голову. Это было уже фатально.

«Что вы говорите, посмотрите – может там есть еще что-нибудь, кроме этих билетов», – спросил начальник училища. Кеша ответил совершенно упавшим голосом:

«Есть, но я же должен отвечать по первой части. Тут – «Переправа у Зимницы».

«Знаете?»

«Так точно», – тихо, уже неуверенный в удаче, проговорил Кеша.

«Отвечайте...».

Кеша знал этот билет. Он любил историю удачной для России Балканской войны и с увлечением начал. Но видел, что экзаменаторы так поражены его неудачей, что даже его не слушают, а обсуждают его случай. Окончив, он был опрошен по частным вопросам по ряду войн и отпущен с миром.

После него отвечал Гриша Игумнов, отвечал тихо, но уверенно, продумывая каждое слово о взятии Берлина в Семилетней войне, участие в ней Суворова в качестве командира небольшого конного отряда в чине полковника. Все он знал, и экзамен закончился для него хорошо.

Затем отвечал юнкер эскадрона, участник русско-японской войны, по собственным впечатлениям и за ним другой эскадронец. Ему попало взятие Плевны русскими. Он отлично описал незначительность Плевны в первый период войны и как она потом, по маневру Осман-паши, приобрела значение узла дорог на пути к Константинополю. Описал отличие Симбирских гренадер и ген. Ганецкого, подвиг майора Горталова.

Начальник училища поздравил всех с удачным экзаменом.

«Нужно же мне было нарваться на Петровские войны», – ворчал Кеша, вернувшись в спальню. Там свирепствовал провалившийся по Артиллерии Михайлов.

«Не понимаю... Какие-то пюшки и опять пюшки... И на кой черт они мне, я же не артиллерист, черт меня возьми... Р-р-убануть шашкой и вот наша и взяла», – ораторствовал он, носясь как разъяренная фурия по спальне в одном белье и напоминая больше не грозного рубаку, а сумасшедшего в смирительной рубахе.

* * *

После экзаменов, уже почти офицерами, как всегда 6-го мая, вышли в лагерь в конном строю мимо фабрики «Треугольник», за Нарвские ворота, на широкий простор петербургских дачных мест к Дудергофу. На другой день училище было разбито по топографическим группам для съемок местности. Эскадрон отдельно, сотня отдельно. У каждой группы свой руководитель из офицеров Генерального Штаба.

Юнкера младшего курса, обремененные тяжелыми треногами, инструментами, пешком по кочковатым болотам и вспаханым полям, чухонским огородам, потные и усталые рассыпаны по всему кавалерийскому холму и придудергофским дачам. То там, то здесь мелькает суетливая фигурка юнкера-казака, расставляющего самолично длинные жерди «вех» для триангуляции участка. Иногда можно видеть Красносельского мальчишку, нагруженного, как верблюду, плетущегося за юнкером эскадрона и помогающего ему при съемке. Такой роскоши юнкера-казаки позволить себе не могли. Эти же мальчишки были поставщиками юнкерам эскадрона и папирос и бутербродов, и нередко и спиртных напитков.

«Послушайте, дорогой, прошу вас, не стесняйтесь, мне всего не выпить, я уже, как говорится, того...», – лепечет, бывало, владелец толстого кармана, милый человек. На камешке Кавелахтского холма, недалеко от дороги, сидит богатый юнкер Милонас из бессарабских помещиков и возле него совершенно чистый планшет, но рядом полуопорожненная бутылка коньяка и бутерброды. Тут же и Красносельский мальчишка, его Санчо-Пансо.

Юнкер сотни, нагруженный своими инструментами, останавливается, вытирает пот из-под козырька пропотевшей фуражки и, отказавшись от угощения, идет дальше. У него нет денег.

Все эти чухонские огороды, дороги, по которым проезжают дачные экипажи, и проходит гвардейская пехота на занятия или кавалерия, возвращающаяся с них с песнями, как какими-то человечками с другой планеты со странными предметами за плечами, с утра до позднего вечера наполнены юнкерами.

Съемка пешком – трудное дело. Молодежь с завистью смотрит на проезжающих на лошадях юнкеров старшего курса с легкими планшетками подмышкой. Районы их действия широки. Иногда юнкер попадает под самое Красное Село или под Тайцы, где он целый день самостоятельно работает или ничего не делает, предаваясь отдыху на травке или проводя время в компании хорошеньких вездесущих дачниц. А после участок подвергался варварскому объезду на рысях и грубой съемке, чтобы как-нибудь отделаться от плохой отметки.

Михайлов попал к очень доброму и непридиричивому капитану Ген. Штаба Петрову, который почти не проверял работ в процессе съемок, оставляя проверку на их конец, и потому юнкера могли разъезжать беспечно, надеясь на Аллаха. Но каков же был ужас Михайлова, когда он на проверке услышал, что его для уравнивания групп переводят в другую смену к строгому и требовательному капитану Мыслицкому. Этот руководитель не мог нравиться юнкерам, особенно тем, кто желал из занятий извлечь и развлечения.

«Все, кто не желает работать, будут выпущены в полк вольноопределяющимися, независимо от сданного ими теоретического экзамена по тактике или топографии», – с места заявил юнкерам старшего курса Мыслицкий.

Михайлов же, не отличавшийся энергией в занятиях, наоборот любил поехать по окрестностям, поухаживать за дачницами, как подводные мины наполнявшими лагерные окрестности. Он знал, что по первому разряду ему все равно не окончить и, махнув рукой, добивался только второго. Его мечта была выйти в захолустный Оренбургский полк, куда-нибудь в забытую крепость в Среднюю Азию, вроде Кирков, на Афганской границе, или Термес там же, и обедаться пловом, шашлыками, запивая их местными винами, и жениться на туркменке или таджичке, или совсем не жениться. Но третий разряд никак не улыбался молодому человеку, уже протянувшему юнкерскую лямку в течение двух лет. И бедный «Миша», как его звали юнкера, пал духом.

Неожиданно подкрался праздник Св. Ольги. Праздник для дачников, не для юнкеров. Они продолжали работать на полях по решению топографических и тактических задач. Эти дни были для них еще более тяжелыми, так как июль месяц совпадал с проверкой всех летних работ.

Как и все, Михайлов выехал на своей вороной кобыле на задание рано утром, чуть свет, хотя его и не было заметно при светлых «белых» ночах, с двумя «мертвецами» в сумке, т. е. холодными и невкусными котлетами, втиснутыми между двумя французскими булками – запахом на целый день, в Киргоф на свой участок, наиболее удаленный от лагерей. Ехал не торопясь, посвистывая и напевая старинные казачьи песни, поглядывая по сторонам, представляя себя то Разиным, то Булавиным, то Пугачевым. То строил воздушные замки на границе Афганистана. Михайлов был мечтатель и фантазер. Хотя кто не был в эти годы мечтателем и фантазером?

Напевал себе под нос, чтобы отогнать мысли от действительности, от капитана Мыслицкого, который на проверке разнесет Михайлова в пух и прах; пел, вспоминая о проведенных часах вчера вот где-то здесь в одной из маленьких рощиц с одной «очаровательной», конечно, дачницей...

Уже наступил день, и вдруг... (на ловца и зверь бежит) его кто-то окликнул: «Господин юнкер, господин юнкер...».

Михайлов повернул свою, вообще плохо поворачивающуюся, толстую шею на зов и увидел голубенький женский зонтик, розовое платье и две божественных женских ножки, бродивших в прозрачной водичке какой-то светлой лужицы.

Его лошадь, кажется, сама остановилась. Так по крайней мере показалось самому Михайлову. Натянув поводья, Михайлов слез и направился к лужице. Божественных ножек оказалось не две, а шесть. Божественные ножки божественно улыбались, показывали беленькие острые зубки, глубокие разрезы на скромных летних платьицах, подчеркнутые тонкие талии и холерные линии ручек. И божественно стреляли глазками.

Все девицы окружили юнкера, расхваливая его «лошадку», трогая ее с притворным страхом за холку, расспрашивали о странном невиданном седле, которое они, конечно, каждый Божий день видели под казаками казачьей гвардии, наполнявшей окрестности Дудергофа и Киргофа.

Из кустиков появился мужчина с усами и солидным брюшком при мамаше, не менее солидной и округленной. Между кустиками соблазнительно виднелась синяя скатерть, разостланная на траве и, как скатерть самобранка, переполненная всевозможными яствами и бутылочками.

Михайлов привязал свою лошадь к дереву, подняв ей голову, чтобы она не ела траву.

«Почему не посидеть часок с хорошенькими приличными девочками?» – решил он.

На обратном пути, уже при желтом освещении белой ночи, Миша плохо помнил все, как оно было. Помнил, что ел и пил. Помнил, что папаша, по-видимому набравшийся, как и он, целовал его пахнущим всеми выпитыми винами и съеденными за день закусками, усатым ртом..., но как взобрался он на седло голодной лошади, он забыл, как и адрес, указанный девицами с приглашением «не забывать их».

Пришел он окончательно в себя, когда предстал пред дежурным офицером с густой веткой какого-то кустарника, заткнутой за кокарду в виде уланского султана, и был записан в штрафной журнал «за опоздание и невоинский вид».

Планшет Михайлова был чист, как и его душа, витавшая где-то далеко между столицей и границей с Афганистаном.

«Чего так поздно? Сделал? Покажи!» – посыпались в спальне вопросы с коек. Михайлов, жестом придворного времен короля Людовика 15-го, показал свой планшет, совершенно чистый. Ему хором ответили: «И у нас тоже».

«Хорошо, что дежурный офицер от эскадрона, а то бы амба, крышка», – пролепетал Михайлов, быстро разделся и, повалившись на кровать, заснул как убитый.

«Миша, кажется, здорово нагрузился», – шепнул соседу веселый Мякутин и, сунув голову под подушку, тоже затих. Он тоже неплохо провел денек Св. Ольги, но успел кое-что

снять и начертить. Был спокоен и сейчас под подушкой доканчивал тактическую задачу в уме, чтобы с утра перенести ее на планшет.

* * *

На другой день, рано утром, смена кап. Мыслицкого отправилась на проверку вместе с ним. Отдыхавшие смены остались лежать на кроватях или сидеть возле барачков, приводя плохо исполненные работы в какой-то порядок. Собрались кучками и, совместно пользуясь памятью, решали работу каждого.

Неожиданно по всей линии лагерей пронеслось певучее:

– Де-жур-ных на ли-ни-ю-ю-ю... Дежурных на линию...

Легковая машина катилась по передней линейке из Главного лагеря в Авангардный. Через барачок пробежал всполошенный дежурный по училищу офицер, за ним дежурный по сотне портупей-юнкер. Командиры взводов примчались в барачок, поднимали всех и приводили барачок в порядок.

Уже было известно, что в эскадроне Вел. Князь Константин Константинович. Юнкера его ценили и уважали, но не всегда он им нравился, и потому часто с ним избегали встречаться за его привычку обращаться с юнкерами, как с кадетами мальчишками. И потому немало их помчалось на берег озера и в конюшни.

Коньком Великого Князя была его память. Ею он видимо гордился, но попадал иногда и впросак.

Посмотрев на какого-нибудь юнкера, напоминавшего ему кого-нибудь из бывших кадет, он говорил:

«Ты Воронежского, я помню тебя... Твоя фамилия Му... Ми... Ма... Мо...?»

«Так точно, Ваше Высочество, Ногаев, Владикавказского...», – бывал бойкий ответ.

«А ты Нижегородского... Ро... Ри... Ру...».

«Второго Оренбургского, Акутин, Ваше Высочество...».

«Ты Псковского?» – уже осторожнее спрашивал Великий Князь, узнав кадета близкого к столице и часто посещаемого им корпуса.

«Так точно, Псковского...», гаркал обрадованный юнкер обрадовавшемуся Великому Князю.

«Ну, вот видишь, я тебя узнал, хорошо помню».

Но иногда Великий Князь забывал, что перед ним не мальчики, а взрослые молодые люди. Так одного юнкера он спросил:

«Кто твой отец?»

Юнкер, или растерявшись, или желая подчеркнуть, что отец его погиб в Японскую войну, ответил:

«У меня нет отца, Ваше Высочество».

«Ну, надеюсь, был же какой-нибудь?» – спросил Великий Князь.

Это было уже слишком и по глазам юнкера Вел. Князь увидел, что лучше разговора не продолжать. И быстро отошел.

Одного юнкера, имевшего очень узенький лоб, он спросил:

«Как учишься?»

«Неважно», – ответил юнкер, зная свои успехи.

«Это и видно...», – проговорил Вел. Князь, постукав молодого человека по лбу. Немедленно к молодому человеку прилипла кличка: «Дурак Высочайше утвержденного образца».

Одного юнкера, носившего поперечную галунную нашивку на юнкерском погоне в знак того, что он был в корпусе вице-унтер-офицером, очень тяготившегося тем, что в училище ему не удавалось заслужить портупей-юнкера по причине невысокого балла по гимнастике и

физическим упражнениям, но прекрасно учившегося и здесь, Вел. Князь спросил, дотрагиваясь до погона:

«Это что у тебя – «остатки прежнего величия»?

Сказано это было очень остроумно, но вопрос Вел. Князя задел самое больное место юнкера.

Но в общем Вел. Князя Константина Константиновича любили, как доброго к юнкерам человека и начальника, спасавшего на экзаменах побочными вопросами по курсу, умышленно легкими, и широко пользовавшегося своим правом набавлять юнкерам до необходимого процента, если находил нужным, когда юнкеру не хватало до первого разряда одного балла или для выхода в гвардию или в желанный полк. Память о нем, о его доброте и о его отеческом отношении к юнкерам, всегда будет жить в сердцах юнкеров-николаевцев.

* * *

В момент посещения Великим Князем училища смена капитана Мыслицкого проезжала мимо Дудергофского холма, огибая его и направляясь к Киргофу.

Откуда-то из пыли вылезла фигура юнкера Павловского пехотного училища и, узанная однокашниками по корпусу, подверглась опросу:

– Ты чего тут «Клин» – делаешь?

– Часовой полевой заставы. – Хмуρο ответил «павлон». Ему немедленно пропели песенку:

«Как хорошо служить в пехоте,
Под барабан маршировать и
Целый день сидеть в болоте,
Потом на солнце высыхать...»

Быть батальонным адъютантом
На хромоногом скакуне и
Вечно слыть армейским франтом
Всегда в потертом сюртуке...»

– Ну, вы, «гунибы», не пыли тут! – Огрызнулся «павлон», и прибавил:

– Тоже мне еще ка-ва-ле-ри-я!

Группа двигалась медленно. Капитан Мыслицкий был в ударе. Плохие отметки он рассыпал направо и налево как из рога изобилия. С припевом:

– Выпущу с веревушками! (т. е. вольноопределяющимися, с шнурами на погонах).

Позади всех ехал юнкер Курбатов. Оканчивал он училище по первому разряду, был отмечен Государем Его подарком, счастлив был до вчерашнего дня бесконечно. Но вчера, как и многие, соблазнился каким-то фиолетовым зонтиком и провел с ним весь день и вечер, и ничего по заданию не сделал. Плохая отметка сегодня может лишить его всего двухгодичного труда, и где-то в облаках уже маячил аттестат «второго» разряда. А сорваться ему было легко, т. к. первый разряд у него обозначался удивительно точно. Ровно 8.00 баллов, как говорилось среди юнкеров: – Восемь с точкой.

Достаточно одной плохой отметки, чтобы получилась неприятная дробь после 7-ми баллов в среднем.

– Вдруг на производстве в офицеры Государь узнает меня, вспомнит и спросит, как я окончил училище? – Срам! – Мелькнула нехорошая мысль и сейчас же ее затмила отчаянная:

Эх, была не была, повидалась!

И Курбатов решительно подъехал к капитану и доложил:

– Разрешите вернуться в училище, забыл планшет. – Доложил он.

– Поезжайте. – Ответил машинально капитан, занятый проверкой.

Курбатов повернул своего коня, поднял планшет в папке, брошенный им в кусты, и началось состязание капитана с юнкером.

Капитан, конечно, был уверен, что юнкер не сделал работу, но Курбатов думал иначе. «В моем распоряжении почти целый день. Участок мой самый дальний, за Киргофом. Успею». – Думал он, пробираясь по крутизнам Дудергофа напрямик через холм к Киргофу.

Недаром под ним знаменитый «Аметист», прекрасный конь, полученный им при оригинальных обстоятельствах.

Еще будучи юнкером младшего курса, где юнкера ездят на сменяемых ежедневно лошадях, Курбатов получил однажды совершенно незнакомую лошадь, очень красивую на вид, с прекрасным экстерьером, под кличкой «Аметист».

Но вестовой, подававший Курбатову, сообщил, что лошадь опасная и переведена со старшего курса, так как юнкер, ездивший на ней, не желая проваливаться на экзамене по езде, отказался от нее.

Опасность «Аметиста» заключалась в том, что он неожиданно переходил от спокойного настроения к веселому и не давал юнкеру джигитовать на нем. Мчался непозволительным для манежа аллюром и вообще «выбрыкивал» различные антраша.

Скрепя сердце, Курбатов сел на «страшилище», и весь час езды был начеку, присматриваясь к незнакомой лошади и проверяя ее.

При первых же шагах почувствовался под седлом прекрасный сильный конь, просящий повод, но с удивительно размеренным шагом. Как часы. Несмотря на ожидание каверзы, «Аметист» провел всю езду прекрасно. Но началась джигитовка.

В этот день сотника Пупыря замещал симпатичный юнкерам подьесаул, высокий богатырь, красивый терец.

– Вы там, кажется, на «Аметисте», не делайте прыжков через седло, убьетесь! – Крикнул подьесаул Курбатову.

Он, за отсутствием Пупыря, проводил занятия с двумя сменами: со своей старшего курса, и со сменой младшего. Он знал этого «Аметиста», т. к. юнкер, ездивший на нем, был из его смены. И когда началась джигитовка, его смена вся столпилась у высокого барьера и наблюдала, как будет джигитовать молодой хвостатый?

Прошла вся смена в джигитовке, и остался один Курбатов на «Аметисте», он был на левом фланге в этот день.

Не предупреди офицер юнкера, может быть он и сам бы убоился пройти на незнакомой лошади. Но предупреждение подьесаула поддало перцу Курбатову и он, тайно перекрестившись, пустил «Аметиста» во весь карьер и начал прыжки.

«Аметист» мчался, как пуля... Но Курбатов заметил, что его аллюр удивительно ровный, без толчков, и что на нем очень легко делать через него прыжки. Словно земля сама отталкивала ноги юнкера и перебрасывала его тело с одной стороны на другую. Только в самом конце, не рассчитав своего дьявольского хода, «Аметист» взвился на дыбы, чтобы не разбиться о деревянную стенку манежа.

Курбатов ловко спрыгнул с него и услышал:

– Я приказал Вам не делать прыжков!

Но в голосе подьесаула слышалась не угроза, не недовольство, а именно похвала ловкому и отчаянному юнкеру. В душе он, как каждый казак, был доволен и горд молодым казаком.

Когда потом Курбатов с видом победителя проезжал мимо смены старшего курса, услышал, как портупей-юнкер Хрипунов говорил другому юнкеру:

– Видал, Губа, как вставляет тебе молодой перо?

После езды Курбатов попросил конюшенного вахмистра всегда приводить «Аметиста» ему, на что получил полное согласие, т. к. никого, желающего ездить на сумасшедшей лошади, не нашлось.

На него теперь и надеялся юнкер, что он успеет покрыть расстояние до Киргофа в кратчайший срок. И, конечно, успеет проделать всю вчерашнюю работу, т. к. было еще только 10 часов утра.

Прискакав к Кирке Киргофа, он передал «Аметиста» чухонцу на кормежку, а сам за полтинник попросил церковного сторожа пустить его на колокольню. Взобравшись на нее, сделал быстро топографический набросок и, прикинув приблизительно свои «Роту пехоты и два орудия» на местности, спустился для объезда контура. Когда окончил, увидел вдали маленькие фигурки всадников капитана Мыслицкого, направляющихся к Киргофу.

Курбатов представил себе, как капитан свирепо бегал карандашом по планшетам неудачников, как ломался карандаш под толстыми «колами» и как уныло ехали за ним оскандалившиеся и еще непроверенные.

Наступал тихий вечер. Из недалеких деревенок вроде Пикколя и Райволя слышался звук кавалерийской трубы Лейб-казаков, идет эскадрон кавалерии по пыльной дороге, пылит пехота за кустарником и длинные тени наполняют затихшую долину с запада на восток.

Из разноцветных палисадников выходят нарядные женщины под зонтиками и направляются к Дудергофу. Кавалеры в белых костюмах и соломенных шляпах следуют за ними. Породистые собачки тоже не теряют драгоценного времени.

Тоненькая пунктирная линия всадников медленно приближается к Киргофу.

Давно съедены две котлеты, выпита почти крынка чухонского молока с хлебом, хочется есть, а время тянется и тянется.

А ехать навстречу группе нельзя, т. к. между нею и юнкером совершенно открытое поле, да еще пересеченное чухонскими жердевыми заборами. Нужно ждать, когда капитан подъедет вон к той мызе и тем кустиками, кажется тем самым, среди которых юнкер вчера провел столько прекрасных часов.

Были поцелуи, обещания встретиться на другой же день, было все, что могло быть при встрече в укромном месте двух молодых существ, предоставленных случаем самим себе.

Кто она? Искательница приключений, каких много под Дудергофом? Быть может, жена какого-нибудь старичка или содержанка уехавшего лечиться в Крым покровителя? Вон, кажется, и она, стоит у забора и смотрит, как едут всадники... Да, она: блондинка с кружевным зонтиком...

Вспомнил, как ему рассказывал его однокашник по корпусу Федя Лунин, теперь юнкер эскадрона, что по отпускным дням он навещает вот где-то здесь хорошенькую блондинку, жившую на иждивении старого высокого чина и находящегося за границей в Карлсбаде.

– Ну, лечись, лечись, старина, а мы с Федей развлечем твою подругу. – Подумал озорно юнкер, едва не пропустив момент подъехать к капитану, уже приближавшемуся к критической полосе съемки.

Он быстро взнуздal своего «Аметиста», подтянул подпруги и, сев, объехал какой-то кустик и помчался обходом в тыл смене.

Когда он появился в хвосте смены, капитан проверял последнюю работу. Это была работа вахмистра, исполненная отлично, выведшая капитана из плохого настроения, совсем миролюбиво обратившегося к юнкеру:

– Ну, что там у Вас? Смотреть?

– Как прикажете, господин капитан. – И Курбатов развернул планшет. Вокруг хитрые и завистливые улыбки. Капитан смотрит удивленно на Курбатова, тот, не моргая глазами, «ест ими начальство».

– Откуда привязывались? – Спрашивает капитан, уже основательно уставший за день: тоже почти ничего не ел и только курил.

– От основания Кирки. – Ответил юнкер.

Карандаш капитана забегал по горизонталям, по тексту легенды, бывшей в действительности настоящей легендой, но уже утомленный и довольный, что у него в руках одна из исполненных работ, поставил хорошую отметку юнкеру, все-таки прибавив:

– Вот, видите, господа, было время кое у кого и работать вчера.

Окончились съемки и тактические задачи, и получился совершенно неожиданный результат.

У капитана Петрова масса плохих отметок, у Мыслицкого все получили приличные отметки, и даже Михайлов гордо смотрел на петровцев: ему капитан Мыслицкий поставил удовлетворительную отметку, не желая портить второго разряда.

После съемок начали готовиться к окончанию училища. Летом были строевые занятия и небольшие маневры. Юнкера больше отдыхали. Чаще ездили в город – больше к портным примерять обмундирование. Как новость в казачьих войсках, для офицеров вводились шпоры. Многие встретили эту новость восторженно, особенно любители танцев и ухаживания. Михайлов что-то ворчал об уничтожении казачьих обычаев, о ненужности шпор, но сам их очень быстро одел. Очевидно, это был его обычный протест против всего не-казачьего. Принадлежа к Оренбургскому казачьему Войску, сформированному из солдат башкир и верхнеуральских казаков, он ратовал за название этого Войска Верхне-Уральским, но многочисленные фамилии Оренбуржцев сами говорили о себе – Чулышниковы, Скрипниковы, Милеевы, Смородиновы, Мякутинцы, Мохлины, Калашниковы, Михайловы, Кузнецовы, Пономаревы – все это самые городские русские фамилии.

Это нисколько не мешало им иметь в своей среде ловких и смелых людей и храбрых командиров на протяжении всего своего существования. Правда, донцы и кубанцы в училище их и астраханцев называли «мужичками» за то, что их земли вклинивались в крестьянские, и оренбуржцы наиболее смешаны с крестьянами.

В общем же, это не имело никакого значения, т. к. все наши казаки Войска ни что иное, как русские люди, в свое время оставившие центральные губернии и ушедшие во внутреннюю ссылку добровольно. Жизнь на окраинах, постоянная борьба с воинственными соседями создало из них ловких наездников, хитрых воинов, буйных людей и свободолюбивых хлебопашцев.

Женщины своей самостоятельностью и незамкнутостью отличались от крестьянских, и пользовались всегда полной свободой наравне с мужчинами.

Вернувшись как-то из города, Кеша нашел на тумбочке телеграмму. Он только что в городе подал сам телеграмму домой:

«Училище окончил. Ждите. Скоро приеду. Иннокентий Аргунов».

Верочке он не писал, но решил по возвращении домой попросить у нее прощения и объясниться окончательно. Но, развернув телеграмму, Кеша выронил ее из рук.

– Что случилось? – Спросил его сосед, поднимая телеграмму и подавая снова Кеше.

Кеша прочел еще раз:

– «Верочка застрелилась. Женя. Подробности письмо».

Через десять дней, перед самым днем производства в офицеры, пришло и письмо. Сестра писала:

«Верочка последнее время была какая-то странная. О тебе не вспоминала. В день ее смерти я ночевала у них. Она среди ночи попросила меня выпустить ее через окно. И больше она не вернулась. Ах, какая я дура! Зачем я ее выпустила! Искали четыре дня казачьи разъезды повсюду. И только на пятый день один разъезд нашел их на военном кладбище. Верочку и кадета Зальцмана, помнишь Фельфебеля корпуса? У него был зажат в руке револьвер, Верочка

лежала в странной позе со сжатыми над головой кулачками. Очевидно, или боялась выстрела или защищалась. И записка на земле: «похоронить вместе». Но кто писал, неизвестно.

Много говорят про Верочку и ее мать. Но я ничего не понимаю. Мне казалось, что Верочка не была такой. Хоронили их отдельно, т. к. мама и мать Верочки говорили, что неприлично. А почему, не говорят. Какие-то странные старые люди. Все у них неприлично, да неприлично. А по-моему, если покойные оставили свою последнюю волю, нужно их слушаться. Тут старики пошли почему-то против обычая...

(Очевидно, письмо писалось не в один прием, т. к. продолжение было уже карандашей). Я сначала думала, что Верочка застрелилась из-за тебя, а теперь вижу, что она была нехорошая. Так все говорят у нас. Говорят, что у них с Зальцманом что-то было... Верка была последнее время очень скрытная и хитрила, и тем обижала меня. Я ведь ей все верила.

А как поверила, так и нарвалась и выпустила ее. Теперь на меня все недовольны. И мама тоже. От нее мне влетело здорово за секреты от нее. Твоя сестра Женя.

П.С. Ждем молодого офицера скорее. Не грусти. Хотя ты, кажется, не очень... Целуем. Твоя Женя и мама.

* * *

В эту ночь Кеша долго не мог заснуть и лежал с открытыми глазами, смотря в темный четырехугольник окна, за которым царила темная пасмурная августовская ночь.

В бараке спали беспокойно. Юнкера старшего курса определенно волновались перед предстоящим представлением Государю по случаю производства в офицеры. Они ворочались на жестких койках, иногда перекидывались отдельными словами с соседями и снова затихали. Кеша не спал.

Перед рассветом он чуть задремал. И вдруг услышал крик петуха. Такой громкий, словно петух был тут вот в бараке. Потом из другого конца ему ответил другой петух. Кеша прислушался. Звуки неслись из помещения второй полусотни.

Перекликались старые и молодые кочеты. Одни заливались умелыми переливами, другие по неопытности просто голосили. Но это были настоящие петухи. Потом загоготали гуси и закрикали утки.

Кеше казалось, что он все это слышит во сне.

Но вот замычала и корова, ей ответили телята и барашки, захрюкали свиньи, заговорили женщины, и зазвенело подойное ведро и сейчас же в него полилось звонкими струйками молоко.

Потом недовольный окрик молодухи, и характерные коровьи шлепки...

Вдруг разбойный посвист и все затихло. Кеша приподнял голову и увидел проходившего по барак дежурного офицера.

– Что это за безобразие? Почему не спят? Что это за шум был тут? – Обратился он к шевелившемуся под одеялом Кеше. Кеша ничего не ответил и притворился спящим. Офицер ушел в барак эскадрона. Наконец, все затихло, и барак как будто погрузился в сон. Инсценировка «Утра в станице» прошла благополучно.

– Аргунов, Кеша, Аргунов! – Кто-то звал Кешу.

– Ну-у? – Чего?

– Твоего «Пупыря» не утвердили в училище. За выпивку. Едет обратно в полк. А уже привез жену. Вот здорово! Так ему и надо!

«Пупырь», так небрежно едва не сломавший жизнь Аргунову, получил возмездие. Кеша тяжело вздохнул и накрылся одеялом.

* * *

После разбора вакансий по полкам юнкерам старшего курса была предоставлена некоторая свобода. Занятий с ними не производили, и они наслаждались заслуженным отдыхом. Валялись на койках, болтали, строили воздушные замки на будущее или пели в полголоса грустные казачьи песни.

Курбатов тоже лежал на койке и смотрел в потолок. Недалеко от него сотенный граммофон напевал охрипшим голосом сарматовские куплетики:

«И подчас готов отдать я все блага мира
За тихий шелест платья, за пару женских ножек,
Ручки и губки, коль ротик ми-ил, и за
Мордашку без подмазки и белил».

– Чего ты слушаешь какую-то чепуху? – Подошел к нему друг его Федя Шляхтин. – Тоже – нашел что слушать! Иди, запишись на состязание на приз. Шашка, револьвер и бинокль. Рубка, стрельба, уколы пикой и джигитовка. – Соблазнял он.

– Не хочу. – Ответил Курбатов.

– А я тебя записал, ей Богу. Вот дурак! – Курбатов вскочил с кровати. – Мне не на чем выходить. «Аметиста» я отдал на младший курс.

– Кому?

– Своему забайкальцу Федосееву. Ловкий ездок, и просил очень.

– А на этом своем звездочете, как его?

– Жетоне?

– Ну да.

– Мало езженный еще. Я на экзамене на нем едва не скиксовал. Нет, он не годится на приз. Еще молодой и горячий. Его бы в полк я с удовольствием увез, прямо украд бы. Хороший, настоящий дончак. Белоногий, а хвост как прическа у барышни.

– Ну, ты, брат, что-то того: хвост лошади ровняешь с хвостом, – тьфу, с прической!

– У нас трудно купить хорошего высокого коня. Почему нам не продают здесь сибирякам? Не ездить же офицеру на монголках, чтоб ноги волочились?

– Ну, пишешься? – Настаивал Шляхтин.

– Ну, если записал, пойду, только смотри, промажу.

– Не промажешь. Помнишь, как ты ловко поймал в поле сорвавшуюся лошадь прямо за чумбур, ох и любовался я тобой тогда, а твой «Пупырь» даже отвернулся, вот ведь до чего мстительная собака! Давай споем что-нибудь на прощанье!

– Не орел под облаками вы-со-ко летает... – Начал Шляхтин доморощенным, но приятным баритоном.

– То штандарт над казаками грозно раз-ве-ва-ет. – Подхватили с кровати любители попеть.

* * *

На другой день несколько кандидатов на призы выстроились на своих лошадях перед баракком. Сотник, злой и красный как бурак, осматривал лошадей.

– На «Жетоне» хотите взять приз? Не слишком ли уверены? – Пробурчал он, проверяя седловку у Курбатова.

– Высокий очень. – Проговорил озабоченно Курбатов.

– Да и ты не маленький, слава Боту, matka выговувала орясину. – Толкнул его в бок Шляхтин.

Первым пошел Акутин. Он ловко проделал все номера от рубки жгута, лозы налево и направо, уколол пикой лежачее чучело и проколол стоячее, выстрелил кокосовой пулей в мишень и попал, на скаку закинул винтовку и снова рубил лозу. За ним Шляхтин проделал то же самое.

Потом прошли Парфентьев, Сердюков и Мурзаев. Все проделали хорошо, но не так, как первые. Пошел Курбатов. «Жетон» с места взял в широкий карьер, что не предвещало ничего хорошего. Но Курбатов успел проделать все номера и только перед последней лозой «Жетон» круто повернул влево и всадник не достал клинком до лозы.

Солдатов сиял, как медный таз, словно в его обязанности входило проваливать юнкеров на состязании.

– Говорил, что не нужно идти, – видишь, что получилось. И все равно не дали бы приза, «Пупырь» бы придрался все равно. – Недовольно говорил Курбатов.

Акутин получил первый приз. Шляхтин второй.

Курбатов пошел в барак, лег на койку и завел, как вчера, пластинку:

Раз красotka молодая, поздно вечером гуляя,
К быстрой речке подошла ай, ай...
Ветерочек чуть-чуть дышет,
Ветерочек не колышет...

Пела Вяльцева – любимца публики того времени.

Весь вечер и рано утром сотня готовилась к предстоящему Царскому смотру. Сапоги начищены до блеска, обмундирование пригнано, оружие почищено. Лошади прибраны.

И еще только светало, когда училище вышло на поле перед бараками для проверки. Вестовые выводили начищенных и смазанных керосином лошадей. От них несло на все поле керосином. Трудно было отличить гнедых от рыжих под блеском шерсти. Копыта, смазанные маслом, блестели, как лакированные тувельки барышень. Хвосты расчесаны, как холенные женские волосы, и колыхались под утренним ветерком, дувшим с озера. Вестовые с любовью оглядывали своих лошадей, но вахмистра все же находили недостатки, и тихая перебранка висела в воздухе.

По команде юнкера вышли из барачков и кони, узнавая своих седоков, утробно ржали, получали кусочки сахара, оторванного от утреннего чая и кусочки хлеба оттуда же. Вьюки пригнаны. Впереди скатанные шинели, позади переметные сумы. Сотня готова. На чистокровной вислоухой кобыле «Шакал» перед сотней, как бог грома и молнии, обзревает в последний раз сотню своими жесткими глазами, словно он смотрит на провинившихся.

Направились по Военному полю к Царскому Валику, что виднелся в двух-трех верстах впереди. Там перед «Валиком» будет решаться судьба каждой строевой части, вышедшей на царский смотр.

Все знают, что Государь по своей доброте не осудит никого. Но также знают, что с ним рядом будет стоять гроза всего Петербургского военного округа Вел. Кн. Николай Николаевич, тощий, как Дон-Кихот, великан с глухим громким голосом, строгими глазами и совершенно независимый начальник.

Каждый знал, сколько раз он гонял с поля целые полки за неудачную репетицию этого парада. И все знали, что как бы ни благодарил Государь, возмездие в случае неудачи все равно не минует виноватого, и это возмездие – Великий Князь Николай.

Поэтому волновались все и, кажется, волновались и лошади.

Когда училище подходило к «Валику», вдаль видны были, как поле багульника, малиновые рубахи Стрелков Императорской Фамилии. За ними построенные полки пешей Гвардии, сбоку тянулись полки гвардейской кавалерии, артиллерии и специальных войск. Прошли несколько пеших и конных провинциальных полков, явившихся на состязание с гвардией.

На высоком искусственном «Валике» огромная палатка-шатер, возле толпы военных в высших чинах, иностранные военные атташе. Они наводят бинокли, стараясь рассмотреть все. Атташе – узаконенный военный шпион: он должен знать все о чужой армии.

Линия жалонеров со значками выровнена по ниточке.

Уже идут под музыки нескольких оркестров пешие полки. Идут поротно солдаты, неся свои, кажущиеся на богатырях игрушечными ружьями, винтовки с особым гвардейским шиком, держа их почти отвесно.

Солдаты подобраны один к одному – красавцы своей деревенской здоровой красотой. Все загорелые...

Думал ли тогда кто-нибудь, что вся эта молодая масса ляжет костями в неудачных боях под Спатовым и в Пруссии по вине их начальников?

Солдаты с молодецким видом, какого не было ни в одной армии мира, легко несут на плечах пудовую выкладку, словно без тяжести. Гул от их шагов наполняет поле, как во время землетрясения.

Конница форсит одинаковыми мастями лошадей по полкам, эскадронам и батареям. Одиннадцать гвардейских частей тянутся к «Валику» и среди них впереди дивизион Николаевского кавалерийского училища. Впереди эскадрон, позади сотни, развернутые эскадронным строем, идут рысью.

Равнение неподражаемое.

Но Великому Князю этого мало. Он приказывает штаб-трубачу-конвойцу играть галоп.

Трудно держать аллюр конной массе, выстроенной в одну линию шеренгой. Но еще труднее его менять, когда лошади уже приняли один аллюр.

Над войсками несутся мелодичные по форме, но тревожные по содержанию, звуки кавалерийской трубы Императорского Штаб-трубача.

Небольшая секундная суета, утробные вздохи прижатых флангами коней, неясные стоны всадников, сдавленных соседями, и шеренги выровнены, как по ниточке.

На правом фланге сотни Курбатов на чужом коне «Банкете». Не решился юнкер выехать на «Жетоне» после провала на состязании на нем, и сел на поданную ему высокую семивершковую лошадь (кавалерийская мерка в 2 арш. 7 верш.). Когда сажился, почувствовал, что его штаны лопнули по шву, и теперь он в двух совершенно отдельных частях своего туалета. Он смотрит направо на Царский Валик. Там под белыми зонтиками в белых платьях вся Императорская семья, там сам Император, но Курбатов не видит, как идет сотня: все равняются по нем.

– Только бы не подвел «Банкет», Господи. – Шепчет юнкер. Уже прошла сотня и не слышно звука трубы. И вдруг над полем пропел желанный сигнал:

– Государь благодарит училище.

И сейчас же был подан сигнал снова на рысь, но это уже для следующей за училищем конной части. Училище, гаркнув восторженно:

– Рады стараться Ваше Величество! – мчится галопом вон с поля. «Шакал» непроницаем, но юнкера знают, что он уже прикидывает себе хороший полк, который получит за прекрасный смотр.

На другой день юнкера рассматривали на первой странице журнала «Огонек», как шли эскадрон и сотня. Курбатов узнал себя на правом фланге и тогда успокоился: сотня ровнялась на него, как один всадник. Даже пики были идеально выровнены.

Незнакомому с кавалерийским делом равнение может показаться детскими забавами и ненужным занятием.

Нет! Чтоб уметь выровняться массе в двести человек, нужно хорошо владеть лошадью и самим собой. Поднять на желаемый аллюр целую шеренгу и не потерять равнение, это и есть выездка коня.

Шакал приказывает выехать песенникам вперед. Это доказательство того, что смотр прошел хорошо и что он доволен. Впереди эскадрон поет свои любимые «Звериаду» и «Буль-буль-буль бутылочка».

Буль-буль-буль родимая...»

Сотня: «Из набега удалого едут Сунженцы домой...»

После парада отпуск в город. Поехали немногие из сотни. Денег ни у кого нет, ждут получения подъемных и прогонных после производства в офицеры.

Прошло, наконец, желанных два года. И настал долгожданный день производства в первый офицерский чин. Каждый видел его во сне, думал о нем и, наконец, вот он – совсем близко.

В тот год производство было в Главном лагере у палаток Преображенского полка.

И был день Преображения Господня: 6-го августа.

В этот день молодые люди из простых солдат преобразались в офицеров, в полноправных граждан Российской Империи.

Государь прибыл ровно в назначенный им час. И начал обход рядов училищ. Разговаривал с каждым, задавая обыденные фразы, но запоминаемые каждым на всю жизнь. Курбатов стоял на левом фланге всей выпускной группы. Даже после второразрядников.

Государь каждому жал руку. Курбатов с волнением ждал его приближения. Думал, что Государь вспомнит о нем, узнает его и спросит что-нибудь...

Но Государь наверно считал, что стоящий последним окончил по второму разряду, и потому, не доходя человек шесть-семь, повернул, лишь только откозырнув им.

Он не знал, что в сотне выпускники были построены не по баллам, а по старшинству казачьих Войск, из которых Уссурийское, куда вышел Курбатов, было самым молодым и маленьким. Это был первый удар по службе в офицерских чинах для Курбатова.

Потом стало все неинтересно. Сели на коней и пошли строем. Но кто-то крикнул:

– Чего мы, салдупы что ли? (салдупы – исковерканное иронически слово солдат). Вали толпой! Видите и офицеры наши исчезли. Господа оф-ф-ицер-ры!

Но как-то не хотелось расставаться с юнкерским строем. Словно что-то оборвалось и больше не вернется...

Как долгожданное свидание с любимой теряет прелесть ожидания, так достижение ожидаемого чина сразу потеряло свою остроту.

Ехали толпой, но механически, по приобретенной за два года привычке, шли каким-то порядком. Не умели ездить еще в беспорядке. Все чудилось, что выскочит страшный Шакал и отправит под арест.

Но засели надолго его слова перед производством:

– Помните, господа, что чем вы дольше будете себя чувствовать, будучи уже офицерами, юнкерами, тем вы больше выиграете.

В училище узнали, что впредь отменяется разнообразная по Войскам форма одежды в сотне. Будет общая.

Какая же?

– Темно-синий короткий мундир и штаны без лампас. Парадный л. казачий кивер с солдатскими эполетиками. Белая португеза и пояс. Шпоры. Фуражка эскадронская, красная.

– Н-н-у и форма. – Протестовал Михайлов. Лучше уж старую, по крайней мере...

– А что ж ты хочешь, чтоб нам дали форму красивее эскадронской? Шалишь, брат! Послужи, да выслужи. Они вон скоро сто лет отпразднуют, а у нас и двадцати то, кажется, нет.

– Ну и ладно! Пускай они «Славная Школа», а мы «Славная Сотня»! Вот! И еще вот!
– И так, господа, конец «Гунибам». – С горечью проговорил Михайлов, сторонник казачьей самобытности.

– Да здравствует единая славная казачья сотня! – Крикнул ему в ухо Туманов, уже в вишневого цвета черкеске, когда к нему подошел его друг эскадронец Левенец Изюмский гусар.

– Ну, ты куда? – Спросил он Туманова.

– Да никуда. На вокзал и домой на Терек.

– А где стоянка полка?

– В Ихдырах.

– Что? В чьих дырах? – Рассмеялся Левенец.

– Есть такая дыра недалеко от Эривани. Ихдыра.

– Ну, тогда успеешь отправиться в «их дыры». Подождут! Это где-то там возле Ноева Ковчега. Едем лучше в Буфф или в Вилла Родэ. Дернем там как следует, ведь Ной то, наш праотец, любил, говорят выпить. Едем! – Едем, дюша мой, шашлик кушаем, едем!

Левенец тащил Туманова за рукав его черкески и тот, соблазненный другом, с которым он провел два года на одной парте, поддался соблазну и, обняв его за талию гусарского кителя, уже говорил:

– Верно брат, едем, едем. А то какие-то там «их дыры». Успеем!

Они оба небрежно юркнули в лодку, едва ее не опрокинув, и в общей компании разноцветных фуражек, металлических приборов и красных гусарских чакчигов и драгунских синих рейтуз попеременно с казачьими разноцветными лампасами и околышами и еще не переодевшимися в офицерскую форму тех, у кого под юнкерским погоном торчал Высочайший приказ о производстве в первый офицерский чин. Это специально для «свиристых» подпоручиков, любивших подтягивать юнкеров на улицах столицы.

Откуда-то из-за конюшен неожиданно появился сотник «Пупырь» и, увидев Кешу, сказал:

– Удивляюсь, Аргунов и вдруг по первому разряду!

Кеша спокойно ответил:

– А Вас, господин сотник, разрешите поздравить с возвращением в родной третий Сибирский казачий полк.

«Пупырь» дернул жестоко свой, похожий на старую истерзанную зубную щетку, рыжий ус, отвернулся, и снова скрылся за конюшнями.

Медленно отплывали берега с юнкерскими бараками и конюшнями. С другой стороны, на плывущих в лодках также медленно приближались другие берега с частными домами, полной свободной новой жизнью, новыми впечатлениями, заботами и борьбой.

На вокзале подвыпивший Туманов и Левенец с какими-то двумя красивыми элегантными и самоуверенными девицами, одна в сиреновом, другая в голубом, с кричащими украшениями на ярких шляпках с вычурными зонтиками и длинными перчатками до локтей. Подошедший из Тайц поезд забрал всю толпу дам, девиц и новых офицеров, целый цветник специально явившихся в этот день и не впервые для новых авантюристов с неопытными юнцами подчас, но с полными карманами денег.

– Прощайте, юнкера! Здравствуйтесь, господа офицеры!

Тихий августовский вечер сядил где-то за «Царским Валиком». Внизу под Дудергофом белело озеро, отражая белесое северное небо, погружаясь в серые сумерки. Фиолетовыми и синими казались юнкерские бараки и конюшни на противоположной стороне озера, и какие-то темные фигурки толпились на берегу возле лодок, и как будто грустная казачья песня тихим лебединым полетом проплыла над затихающим к ночи озером... И вдруг традиционное ежевечернее пожелание спокойной ночи дудергофским красавицам, исполняемое хором, грянуло над озером:

– Спо-кой-но-й но-чи! Ду-у-дер-го-фу-у!!

И эхо, как каждый вечер привыкшее отвечать юнкерам, в воздухе ахнуло: О-чи! О-фу!!

«Родимый край», Париж, январь 1964 – август 1965, №№ 50-59.

«За други своя»

Андров и Брутов вместе окончили военное училище и вместе вышли в один и тот же конный полк, стоявший на далекой российской окраине. Андров учился хорошо и вел себя вполне, как подобает будущему портупей-юнкеру, нашивки по званию коего он с гордостью нашил себе на красный погон с кованым золотым галуном.

Гвардейская вакансия ему улыбалась от рождения, так как все его предки, которых он знал и помнил, служили в гвардии. Но Андров предпочел выйти в отдаленный округ по следующим причинам: во-первых, его предки к его рождению уже основательно прожили свои имена и ему ничего не оставили, во-вторых, учась не в Пажеском Его Величества кадетском корпусе, а в обыкновенном, хотя и столичном, он чувствовал, что настоящим гвардейцем ему все равно не быть, а вследствие недостатка средств и тем более.

Выходить на западную границу в какой-нибудь полупольский или полуеврейский городок он не захотел. Большинство всех этих славных кавалерийских полков западной границы сучали на своих протухших и провонявших стоянках, не зная, куда себя девать от скуки. Далекая же окраина давала возможность заниматься охотой, рыбной ловлей и подготовкой в Академию. В какую, – Андров еще не решил, но все-таки в своем сундуке, окованном и заказанном по одинаковому образцу для всех произведенных в офицеры юнкеров и отправляющихся к месту службы с полным карманом «прогонных денег», и которому позавидовала бы любая институтка за его размеры (будь в нем конечно приданое) дежали все необходимые учебники для подготовки в Академию.

Ехали вместе с Брутовым в одном купе дальнего экспресса, в котором за длинную поездку все перезнакомились, сдружились, играя в карты, выпивая в поездном салон-вагоне и рассказывая анекдоты. Обыкновенно поезд, составленный из так называемых пульмановских вагонов, был покрыт стальной броней ниже края окон для предохранения от пуль при нападении хунхузов.

На вагонных тамбурах стояли лихие пограничники с зелеными верхами фуражек, боевые, ловкие, подтянутые ребята, знавшие, что если нападение и состоится, то исключительно на вагоны с китайцами. Европейцев в то время хунхузы уже не трогали. Все-таки наличие стальной брони, охраны на мостах, патрули вдоль линии железной дороги, по обе стороны которой в нескольких лишь метрах была чужая страна, создавала некоторую военную поэзию гордости, смешанную со страхом. Одиннадцать дней и ночей в пути пролетели быстро и поезд, мягко сдавая тормозами, остановился в полупустынной станции.

* * *

В дислокациях полков Российской Императорской армии указывались только стоянки штабов дивизий. Такие дислокации продавались совершенно свободно в любом книжном магазине и не были секретом, потому что полки этих дивизий были разбросаны по границе на сотни верст незаселенной тайги, или населенной туземцами.

Андров и Брутов поселились вместе. Комната, без каких-либо удобств с одиноким окошечком, выходящим на пустой, такой же грязный, как и хозяйский дворик, где бродили куры, свиньи и собаки в мирном сообществе, изредка ссорясь только от брошенной кости. В конюшне, стояли лошади вестовых и офицера, это единственное развлечение в пределах стоянки. Вокруг же тайга или степь, как море, колеблющееся под ветром. Тайга шумит верхушками своих сосен и елей. Степь шелестит ковыльными султанчиками.

Брутов привёл с собой из России чистокровную лошадь и одну строевую. На чистокровной он предполагал скакать в ближайшем (за 300 верст) городе, на строевой же служить. На

чистокровных лошадях, полученных к скачкам, строго запрещалось выезжать в конный строй, так как лошади, привыкшие перегонять, не могли спокойно чувствовать присутствия позади себя других лошадей и, конечно, от этого присутствия волновались и рвались вперед. Удержать их на месте для кавалериста ничего не стоило, но заставить стоять на всех четырех ногах одновременно, не переминаясь, было невозможно.

У Брутова в этот роковой день заболела его строевая лошадь, и он, не желая садиться на низкорослую местную, выехал в строй на чистокровной. Полк был построен на просторном плацу в ожидании командира полка.

Полковник, помощник по строевой части, ровнял полк по линейке. Все шло хорошо, но лошадь Брутова портила все дело, весь шик выровненного кавалерийского полка. Командовавший полком полковник, взбешенный поведением лошади Брутова, подскочил к нему на полном галопе с поднятым стеклом над головой с криком:

– Долго ваша мадам будет мне тут устраивать публичный дом (он назвал и мадам и почетное заведение своими именами)?

Поднятый стек над головой означал замах для удара. По военной традиции замах равносильна удару, за который обиженный должен кровью отомстить обидчику. Для обоих, и для полковника и для корнета, присутствие строя усугубляло положение. Молодой офицер не выдержал и выхватил свою шашку. Прошла секунда и полковник, проткнутой шашкой, свалился с лошади...

Это печальное событие произошло в отсутствие корнета Андрова. Он со взводом солдат преследовал шайку хунхузов, вырезавших русскую крестьянскую семью на границе. Дело было в январе.

Во время облавы в тайге при 30 градусном морозе на рассвете отряд Андрова налетел на спящих хунхузов. Китайцы и маньчжуры обыкновенно спят голые на горячих канах, т. е. глиняных трубах, тянущихся по всей фанзе (дом), через которую или, вернее, по которой выходит печной дым из примитивной печи. Жара в фанзе невыносимая. А при обилии в фанзах насекомых эта невыносимость усугубляется. Зная этот обычай, отряд и решил налететь на рассвете на голых.

Хунхуз – это не разбойник, как многие предполагают. Если он и разбойник, то временный, вынужденный на эту профессию каким-нибудь обстоятельством: бедностью, риском быть казненным «по ошибке» (эти ошибки были нередки, т. к. китайские военные власти боялись хунхузов и ловить их и не пробовали, а просто ловили нужных по приказу свыше нескольких бродяг и представляли их как хунхузов, которым китайские местные власти очень хладнокровно рубили головы). Иногда причиной обращения в хунхузы был проигрыш в карты или кости.

По мере возможности «хунхузы» возвращались к мирной жизни, но оставлять шайки их бродить под самым носом у себя русские военные власти, конечно, не могли и часто заходили на маньчжурскую территорию и там самостоятельно расправлялись с ними.

* * *

Андров, приказав окружить фанзу, сам кинулся к ее двери, чтоб встретить выбегавших из нее, в то время как остальные, разбивая или вернее разрывая бумажные «стекла» фанзы, должны были ворваться в нее и быстро расправиться с ее обитателями. Никто не успел выскочить. Несколько человек было убито, несколько ранено и один только выбежал вон, наткнувшись на стоявшего у двери Андрова.

Это был высоченный молодой маньчжур по-азиатски даже красив и мускулист, как Аполлон. Его полуголое тело блестело от пота, когда он сильно ударил Андрова и сшиб его с ног.

Не успев выстрелить в него из револьвера, Андров приказал стоявшему солдату на часах:

– Задержи этого во что бы то ни стало! – И сам вскочил в фанзу. Там было уже все кончено. Убитые лежали спокойно, раненые хрипели и стонали, и оставшиеся в живых сдавленные стояли кучками, спинами друг к другу, связанные их длинными косами с круто прикрученными к затылкам. Было и комично и трагично. В таком положении хунхуз не мог ничего предпринять, так как каждое его движение мешало другому. Словно пойманная и связанная через жабры рыба и брошенная в реку. Такая связка не может уйти, так как каждая тянет в свою сторону.

Но любоваться такой картиной Андрову не было времени. Ему нужно было знать, что сделал часовой с тем, который убежал. И Андров выбежал наружу. Часовой спокойно голым пальцем руки чистил свой покрасневший от мороза нос и как видно даже забыл о случившемся, так как, когда его Андров спросил:

– А где же тот? – часовой ответил, указывая на пограничную реку:

– Вон, он, Вашбродь, лежит.

Андров увидел лежащего и шевелившегося маньчжура на льду на самой середине неширокой реки. Чувство сострадания к раненому все-таки взяло верх, и он спросил строго часового:

– Ты стрелял в него?

– Так тошно, стрелил один раз, – ответил отличный стрелок.

– Но ведь я тебе не приказывал его убивать.

– Так Вы ж мини приказалы, Вашбродь, задержи иго, что б вын и не встав, – ответил поукраински часовой. Ничего не оставалось как только садиться на лошадь и скакать к раненому по ледяным торосам и выяснить, какова рана. Что Андров и сделал.

Подъехав к нему, он узнал, что манчжур ранен, по его словам, в руку, и что он не хунхуз, а что только готовил им пищу в фанзе, и что у него есть билет на проживание.

Дело принимало скверный оборот. Часовой за ранение или убийство мирного жителя мог получить несколько лет дисциплинарного батальона, убив или ранив без приказа. Остановив проезжавшего крестьянина на санях, Андров приказал ему, на основании пограничных законов, отвезти раненого в ближайшее село в приемный покой.

Остальных связанными за косы погнали туда же. Раненых отправили на ближайший пост. К ночи прибыли в село и первое, что сделал Андров, пошел узнать о состоянии раненого. Положение его оказалось тяжелым, так как была пробита не только рука, но и грудь, а с нею и легкие. Манчжур сильно страдал, и Андров приказал немедленно везти его в город в лазарет.

Вернувшись в полк, Андров с сожалением узнал о случае с Брутовым, зная, что за его поступок он подлежит смертной казни, несмотря на то, что был вызван на подобные действия. Военные законы строже гражданских, и то, что прощается частному лицу, то не только не прощается военному, но, наоборот часто усиливает вину. Как, например, действие в пьяном виде. Для частного лица это иногда смягчающее вину обстоятельство. Для военного – усиливающее! Полковник не имел права замахиваться на подчиненного офицера, да еще в строю, но это не смягчало вину ответившему, и Брутов был под следствием почти полгода, когда в тот же город приехал и Андров.

Встретились друзья в один и тот же день в зале Военного окружного суда. Брутова судили за вооруженное сопротивление начальнику, караемое смертной казнью через расстрел.

Андров попал, как говорится, «за други своя». Был молод и жаль ему стало того часового, что так честно и беспрекословно выполнил его приказ и задержал беглеца. После возвращения в полк, доложив все рапортом, Андров спокойно продолжал нести службу.

Не только солдаты, но и начальники считали убийство на границе маньчжура не особенно важным происшествием, и потому о нем вскоре все забыли. Забыл и сам Андров. Но вот уже в марте, когда даже в северной Манчжурии становится тепло, перелётные птицы возвращаются на свои кормежки, почки багульника дивно, прежде всех кустарников, набухли и вот-вот рас-

пустят лиловые цветы, и ими покроются все сопки, еще до зеленой травы и будут фиолетовыми, особенно вечерами, когда последние лучи заходящего солнца как кистью мазнут по склонам и выкрасят все в фиолетовый цвет, а земля начнет оттаивать и запахнет от нее новой жизнью распускающихся трав, – в такой солнечный день Андров был вызван военным следователем в мертвецкую лазарета. Там он застал следователя, который указывая ему на труп какого-то маньчжура, спросил:

– Это Ваш крестник?

«Крестников» у служивших на границе всегда было достаточно, и потому Андров не мог ничего ответить. Следователь предложил ему вечером приехать к нему на квартиру для допроса. Уже по дороге из госпиталя Андров вспомнил про январский случай и понял, что часовому грозит наказание. Молодые годы. Почти товарищеское отношение к подчиненному и желание спасти толкнули Андрова на преступление. Вспоминая Евангельское выражение, что допускается «ложь во спасение», он решил взять вину на себя, пользуясь тем, что никто, кроме стрелявшего, ничего не видел. Все были заняты каждый своим делом. Приехав в полк, Андров вызвал часового и сообщил ему, какая кара ему грозит. Часовой стоял с дрожащими ногами и красный от волнения. Ему оставалось всего несколько месяцев до увольнения. Дома жена, дети, хозяйство. И вдруг тяжелая кара дисциплинарного батальона. Андров встал и подошел к часовому:

– Слушай! Ты ни в кого не стрелял и ничего не видел. Ты стоял с лошадьми и из-за деревьев не видел ничего. Выстрел слышал среди остальных выстрелов. Понял?

Часовой, молча, чесал себе лоб. Он как будто понимал и как будто не понимал, что ему советует офицер. Андров разъяснил. Тогда тот понял.

* * *

По случайному совпадению, каких в жизни бывает очень много, и случайными их называть даже и не следовало бы, но так получилось, что Андров и Брутов были судимы в один день и тем же составом суда. Председателем был свирепый генерал, наводивший панику и на подсудимых и на весь состав суда. Этот человек никого не боялся. В 1905 г. в него стреляли два раза. Он продолжал ходить по улицам один с двумя револьверами в карманах. Целые легенды на процессах рассказывали о нем. Даже часовые, охраняющие суд, его побаивались. Первого судили Брутова. Суд вынес ему суровый приговор, приговорив его к расстрелу. Андров сидел на скамье тут же недалеко и все слышал и переживал за друга. Но и своя участь была близка. За неправильно отданное приказание офицер тоже нес суровое наказание. А Андров решил всю вину по убийству маньчжура взять на себя. Вернее приписать убийство себе.

В ожидании суда оба молодых офицера сидели на одной скамье и разговаривали. Причем Брутов говорил Андрову:

– Меня, конечно, приговорят к расстрелу. У меня мать в Питере. После приговора я имею 72 часа на апелляцию. Денег у меня нет. Я все их прожил в крепости. Ведь шесть месяцев без жалованья. Прощу тебя, после приговора дай телеграмму маме, что я приговорен, и вторую – Командующему войсками о приостановке экзекуции до ответа из Питера. Мать подаст на высочайшее Имя. Сделаешь?!

– Ну, конечно! – ответил Андров, едва сдерживая слезы. У Брутова они давно уже выплакались. Под глазами за шесть месяцев ожидания суда были черные круги и красные веки. Брутов внешне спокойно выслушал приговор, и его вывели. Он только смог улыбнуться уголком рта своему другу.

Началось дело Андрова. Андров отказался от защитника, сидевшего тут же. Он рассказал всю историю по подготовленному заранее варианту.

– Когда маньчжур, ударивший меня, побежал, я по нем дал четыре выстрела из винтовки, но не попал. Потом, видя, что он уходит и может перебраться за границу, где уже его взять будет невозможно, я стал на одно колено и, хорошо прицелившись, выстрелил и убил маньчжура.

Предстояла речь прокурора, страшного, звероподобного кавказского типа мужчины. Андров невольно поежился, помня, как он только что разносил его друга. Но прокурор начал совсем на другую тему:

– Господин председатель и господа судьи! Перед нами молодой офицер, который, служа на границе, не посчитался ни с потерей своей карьеры, ни с заключением в крепость ради исполнения своего долга. Он честно выполнил свой долг до конца и настиг противника, нанеся ему удар. Мы должны награждать таких офицеров, а не карать. Кому пришло в голову предать его суду? Я не знаю. Но мое последнее слово прокурора, оправдать!

Зал затих. Стояла такая тишина, что часовые, охранявшие решетку, даже не дышали. Когда осудили Брутова, у них тряслись винтовки в руках и дребезжали штыковые антапки от волнения. Сейчас они не дышали, видимо, ничего не понимая, что происходит.

Один из полковников член суда попросил слова.

– Скажите, корнет, сколько раз вы стреляли в бегущего, – спросил полковник Андрова. – Четыре я дал промаха, на пятом попал, – ответил корнет.

– Хорошо. Ну, а если б вы не попали и на пятом выстреле, ведь маньчжур-то бежал, а не стоял на одном месте...? – Снова задал вопрос полковник.

Андров знал, что за превышение власти и за безвластие существовала одна общая статья закона. Что почетнее для офицера при исполнении служебного долга? Мелькнула быстро мысль у него. Конечно, превышение, ибо безвластие позор. И Андров ответил:

– Стрелял бы до тех пор, пока не остановил бы этого маньчжура.

– Ну, а если б вы никогда не попали, и маньчжур успел перебежать границу и тогда что? – не отставал полковник. И Андров понял полковника. Тот, как преподаватель на экзамене наводил отвечающего на правильный ответ, подсказывал ему. Андров сказал:

– Вскочил бы на коня и, догнав, зарубил бы его.

Суд удалился на совещание.

Час ожидания показался Андрову вечностью и, если б не предыдущий процесс его друга Брутова, он бы считал себя самым несчастным человеком в мире. Кому хочется сидеть в сырой камере крепости несколько лет, хотя бы и ради спасения солдата? Но суровый приговор его другу Брутову совершенно стирал в сознании мысль о своем несчастье. Андров только думал о тех двух телеграммах, которые он должен был после приговора послать и о том, удастся ли ему это, если его самого осудят.

Но через час Андров выходил из зала суда освобожденным и оправданным. В коридоре он встретил того полковника, который задавал ему казуистические вопросы и решил спросить его, почему тот допытывался так крепко о поведении его, Андрова. Полковник ответил:

– Только этим ответом вы и спасли себя от споров на судебном совещании по вашему делу. Ответ вы, что вы, постреляв, оставили бы маньчжура бежать, было бы вам два года крепости за легкомысленное поведение на границе. Но вы своим ответом доказали готовность на все, чтоб только достигнуть служебной цели по долгу службы и спасли себя. Желаю нам больше не встречаться в этом заведении, – сказал полковник, улыбаясь и пожимая крепко руку молодому офицеру. Через полчаса Андров посылал две телеграммы: одну в Питер матери Брутова, другую командующему войсками военного округа.

За вторую он получил телеграфом же выговор и три дня ареста, на гауптвахте, за подачу рапорта не по команде. Результат второй сказался тоже скоро. Не успел Андров отсидеть на крепостной гауптвахте свои три дня, как к нему ворвался Брутов с какой-то бумажкой в руках. Он бросился обнимать друга и плакал от счастья:

– Наш Государь, наш... Император... простил меня и только разжаловал в солдаты с переводом в другой военный округ... Ты понимаешь... смерть прошла мимо меня... Мама подала лично на Высочайшее имя, и главный прокурор помог ей в этом. Царь простил меня. Теперь вся жизнь моя – ему, только ему!

И Брутов доказал свое обещание. Через несколько месяцев вспыхнула война с Германией, и Брутов, получив солдатский крест, был за отличие восстановлен в прежнем чине и получил вскоре и офицерский Георгиевский крест.

Андрову немного не повезло. В день мобилизации он торопился на вокзал в пять часов утра, когда еще трамваи не ходили, извозчики оказались все на призывных пунктах, носильщики тоже, и он, тащась через весь город со своими вещами, не заметил того генерала – председателя суда, судившего его и Брутова, и не отдал ему чести. Генерал был верен себе. Он остановил Андрова, подозвал к себе и велел следовать за собой, и привел его на гауптвахту.

«Русская мысль», Париж, 11 июля 1963, № 2019, с. 4–5.

Случай на маневрах

Дело было перед Первой Мировой. Наш седьмой Донской стоял в городе Николаеве. Както на маневрах пришлось нашей сотне расположиться на несколько дней в немецкой колонке. Известно, как полагается, по 4–5 казаков на двор.

Пищу получали с сотенного котла, фураж покупали, ну, и конечно перепало и от хозяев.

Вот в одном дворе попали к скупому немцу четыре наших мелеховских, да таких, что, как говорится, «оторви ухо, да брось». Везде немцы угощают казаков и до женского полу не особенно трудно было, а вот у этого ни тебе холодца, ни тебе лапшевника, ни яешни с салом, и бабы все на запор.

Как оно там получилось уж неизвестно. А только в день выступления командир сотни есаул Попов собрал всех хозяев и спросил: «нет ли, мол, каких претензий?»

Жалоб не оказалось. Хозяева были довольны, и сотня шагом потянулась вон из колонки.

Пропылили так мы версты три, песни затянули, как откуда не возьмись бегить той немец. Ну, конечно, по рядам передача:

– Сотенного, командера сюда!

Командир, конечно, не поехал, а остановил сотню и стал дожидать того немца.

Немец весь потный, с задышкой подбежал и говорит:

– Кабана у меня украли казаки.

Командир ажник лицом переменялся и закричал:

– Вахмистра ко мне!

У нас был лихой вахмистр, чертом он подлетел на своем белоногом дончике и осадил его на хвост за три шага перед командиром. (Чуял наверно).

– Где кабан? – Напирал на вахмистра командир, а тот легонько осаживал, чтобы сотенный случаем не задел его.

– Не могу знать, Вашскородь! – Про какого кабана изволите спрашивать? —

– У немца кабана уперли, сукины сыны! Повзводно осмотреть все вьюки и проверить выкладку!

Засуетились старшие урядники, забегали младшие. Каждую суму осмотрел сам сотенный и только руками разводил. Разводил руками и вахмистр. Но не только целого кабана, но даже и кусочка сала ни у кого не оказалось.

Немец заглядывал в каждую суму, трогал ее, сопел и вытирал пот платком со вспотевшего лица и шеи. Но кабана нигде не нашел и пошел назад в колонку, понуря голову.

Есаул Попов посмотрел на часы и повел сотню рысью, или чтобы наверстать потерянное остановкой сотни время, или может быть желая поскорей убраться подальше от колонки. Но только так через пятнадцать минут строевой рыси он неожиданно крикнул, переводя аллюр на шаг:

– Вахмистра-а! – И снова лихой вахмистр чертом подлетел к командиру и ссадил своего мерина на хвост.

– Где кабан? – Коротко спросил командир, взглянув в упор в глаза вахмистру.

– Чичас, сей минут, Вашскородь. – Ответил вахмистр и, круто повернув на задних ногах своего дончика, пустив в нос командиру целое облако пыли, помчался к хвосту колонны.

Не прошло и пяти минут как вахмистерский конь уже дробно колотил дорогу кованными на передки ногами. И снова осел его конь на свой длинный хвост, роняя мыльную пену изо рта. А вахмистр протянул вежливо командиру завернутый в стиранную портянку продолговатый кусок свинины.

– Это что такое? – Крикнул командир, увидев налицо вещественное доказательство.

– Мясо. Это Вам на обед. – Ответил, не моргнув глазом, вахмистр.

– Где взял? Где нашел? – Спросил командир, кусая черный ус и видимо скрывая улыбку и душивший его смех.

– Под седлом схоронили, у каждого под седлом, промеж ленчиком и потником по куску. Весь кабан тут у сотни.

Произошла немая сцена между командиром и вахмистром.

Наконец, командир не выдержал, сознавая всю бесполезность возвращения хозяину его кабана в разобранном виде и уже примирительно проговорил:

– Чего ж ты, подлец, мне сразу не доложил?!

– Так ить он, Вашскородь, найтить хотел. Если бы он, может по-хорошему, спросил бы, верните, мол, а то ведь ишь ты, сам у казака найтить хотел.

Четверо «преступников» отдневал ил и все маневры, а кабан был торжественно съеден на первой стоянке.

«Родимый край», Париж, март-апрель 1958, № 15, с. 22–23

Карпатские долины

Быль (к 40-летию светлой памяти всех павших за родину в войну 1915 года)

Еще не прошел счастливый для российской императорской армии 1915 год, тень от Двуглавого Орла парила над восточными владениями Австро-Венгерской империи. По пыльным дорогам Галиции плелись австрийские пленные толпами, подгоняемые нашими бородатými «Гаврилычами», и галичанки выбегали на улицу с возгласами:

– Наше вийско иде!

По улицам галицийских городков шли к фронту наши маршиевые роты. От грохота их казенного сапога смазливые полечки кокетливо испуганно ахали, когда роты проходили с песнями.

– Ах! Матка Возка! Цо то есть?

И ловкие и подтянутые солдаты распевали, чувствуя к себе любопытство:

Ты не плачь, не плачь, Маруся...

Скоро я к тебе вернуся...

По горам, по горам, нонче здесь, завтра там...

Деревенские девчата с умилением глядели на ловко сидящих на красивых конях кубанских казаков:

– Ой, маты ридна! Козак-попик! Наши ридни писни спивають!

В тылу на молебнах благодарственных и о даровании победы лохматые как львы протоиереи львиными голосами провозглашали: «С нами Бог, разумеете языци и покоряйтесь, яко с нами Бог!» «Христолюбивому, победоносному российскому воинству многая лета!» Нежные дисканты с томными альтами и тенорами взвивали в высь под самые купола прекрасные аккорды и потом вместе с басами и рокочущими октавами опускались с грохотом, подобным далекому артиллерийскому гулу...

В этот год в небольшой альпийской хатке заседал временный полевой суд. Председательствовал престарелый генерал из запаса.

Судили казака, взявшего у галичанки курицу и тут же в ее хате и сварившего ее. За мародерство: смертная казнь. Недаром военно-полевой суд и имел только 2 статьи: помилование и расстрел.

Первому пришлось высказываться молодому казачьему сотнику из того же полка:

– По-моему, дать ему 25 плетей и довольно. Больше брать не будет.

– Нужно принять во внимание его боевые награды. Ведь он кавалер трех крестов за эту войну, – сказал, слегка приподнимаясь, тоже молодой кавалерийский штабс-ротмистр.

– Теперь этих кавалеров развелось столько, что если они начнут все воровать, то у нас останется армия воров, – недовольно вставил свое мнение пехотный капитан из запаса. Его поддержал другой капитан.

Штабс-ротмистр покраснел и сухо выдавил:

– Георгиевские кавалеры, капитан, не разводятся, это не клопы и не блохи. Все-таки они храбрые люди, и с ними, по-моему, нужно считаться. И нужно только радоваться, что их у нас, как вы изволили выразиться, развелось много.

Капитан тоже покраснел, его крутая шея едва помещалась в коротком воротнике кителя, он что-то хотел возразить, но его перебил генерал, осадив кавалериста:

– Остается только мое, так сказать, мнение. Я, собственно, тоже склонен присоединиться к мнению первых двух высказавшихся. Ведь, как получилось, господа, голоса поровну разделились, и мое слово должно оказаться решающим, как это в алгебре? Одинаковые члены взаимно друг друга уничтожают... Остается, таким образом только э... мой, так сказать, то есть я не то хотел сказать... господа, который не сокращается... Так кажется? Э-Э-Э... Я тоже держусь того мнения, что казака...

В это время зазвонил полевой телефон. Сердитый, видимо, генеральский голос говорил:

– Говорит штаб корпуса. Ваше... превосходительство... скоро у вас там окончится это, так сказать, заседание? Имейте в виду, ваше превосходительство, что экзекуционный взвод уже прибыл на место для исполнения приговора.

Генерал опустил трубку и, побледнев, проговорил:

– Что ж сами видите, господа члены, судьба...

Смертный приговор был подписан всеми членами полевого суда.

У неглубокой могилы, только вырытой, хозяйственно лежал свежеструганный деревянный крест. Гроба не было, его не полагалось.

Приговоренный стоял у могилы. Казаки не смотрели на него. Молодой офицер нервно курил папиросу за папиросой.

Старый вахмистр, участник Китайского похода и Японской войны, крутил свирепю свой начинавший сидеть пшеничный ус и часто сморкался между двумя пальцами. Экзекуционный взвод ожидал письменного приговора.

Наконец, прискакал казак и показал офицеру пакет. Тот вскрыл его, и, прочитав, сунул обратно в конверт.

Стоявший у могилы казак словно понял, что участь его решена. Он видел, как казаки, не глядя на него, заряжали винтовки одним патроном.

– Братцы! Станишники! – вдруг вырвалось у казака. – Станишники! Не придавайте смерти!.. Ведь за курицу! Братцы!.. Не придавайте позору! В станице все родствие узнает! Семья... братцы... детишки... узнают... Ведь ку-ри-ца. Кто их не берет? Не я один! Братцы! Не придавайте позору! Ваш... бродье! Явите божескую милость... Пошлите в бой, зарас заслужу... Смерти не боюсь. Вот она стоит!.. Семейство... Братцы!

Но поняв, что все его просьбы напрасны, казак опустил голову.

Когда щелкнули характерно ружейные затворы, он успел крикнуть:

– Прощай, станица! Простите, братцы!

Одновременно с беспорядочно грохнувшими пятью выстрелами казак упал.

Закапывали его молча, не глядя один на другого. Офицер химическим карандашом написал на кресте: «Расстрелян за мародерство казак станицы Нижней...»

В это время вахмистр подошел к молодому казаку и взял его винтовку. Повернув затвор, он выбросил на траву нестреляный патрон:

– Ты, братуха, гляди в другоряд. Знаешь за это, что может быть? Вон энто самое. – И вахмистр многозначительно показал глазами на крест.

Казак вырвал свою винтовку из рук вахмистра и глухо прохрипел:

– Господин подхорунжий! Мирон Степаныч! Отойдите зарас. Не трошь мене.

– Что так? Опрокинулся что ли? – удивился вахмистр.

– Отойдите. Зарас убить могу.

– Т-тю на тебя! Малахольный. Охолонь трошки! Гляди... командер смотреть!

– Ф-фу! – пропыхтел казак. – Вожжа мой, до чего народ звероподобный стал. Кубить у всех мозги сдвинулись...

И он как-то тяжело нагнулся и поднял выброшенный из магазинной коробки патрон и толкал его дрожащими руками в патронник. Но патрон не повиновался и снова упал на траву.

– Что там у вас за торговля, вахмистр! – крикнул офицер.

– Да приболел казак энтот. Оступился, кубыть! – крикнул он офицеру, чтоб как-нибудь сгладить дело, ибо прекрасно понимал, что если сейчас этого молодого казака не оставить в покое, большое дело может получиться. Побежал догонять взвод. И рассердившись неизвестно на кого, крикнул:

– Ну, вы христолюбивые! Ноіу тверже дай, рас-ко-ря-чи-лись! Рас так... вас! Ишь, козу-ни!

* * *

Когда взвод вернулся в деревню к уряднику подбежала молодая галичанка:

– Панове! А шо я кажу. Це-ж нэ справди, шо того казака з рушныць побыто?

– Какого казака?

– А того, що курку в мэнэ украв!

– Вот вас взять бы всех мокрохвостых, та всыпать бы под юбку плетей, тай не стали бы на солдат жалиться. – Урядник посмотрел на нее страшными глазами, пряча под жесткими усами смех душивший его.

Баба перепугалась и, не зная, что уже делать, заревела.

– Чего реवेशь? Дура!

– Та я-ж, паночку, казала тильки шоб нэ кралы. А як попросыв бы, так и сама б ще дала. А воны, бачьте, побыли его. Та нехай вона сказыться, оця куцка. Бог мэнэ покараеть за тэ. Ой Боже-ж мий. Лыхо мини.

– Ты, тетка, не горюй, отнеси лучше своему попу курку живую. Он тебе все грехи отпустит, а нам зарежь одну, на помин, значить. – И урядник уже ласково поглядел на смазливую галичанку.

– Ой, панэ! Прынэсу и вам курку. Зараз. Тильки не бийтэ хлопцив за курэй. – Галичанка простыми открытыми глазами взглянула в лицо урядника. Того аж в жар кинуло:

– Ишь, ты, ка-кет-ка! – сказал он, обняв ее широкой как торба ладонью и хлопнув смачно по туго обтянутой плахте.

Красная от смущения и довольная, что казаков больше стрелять не будут, галичанка пошла через улицу в хату, мелькая зелеными от грязи пятками. Казаки голодными глазами провожали ее до самой калитки.

* * *

После экзекуции над казаком, укравшим курицу, перепуганное строгостью население деревни окончательно отказалось от жалоб на солдат. Те, в свою очередь, осмелели и брали, что хотели, не спрашивая. На то война.

Кур резали на глазах у хозяев. Медом угощали их же ребятишек. Крестьяне только улыбались. А поставленный за селом крест стал местом настоящего паломничества женщин и девушек, богобоязненных галичанок. У креста едва не ежедневно менялись венки из живых цветов и букеты.

Проходившие мимо в бой воинские части задерживались на миг у креста. Солдаты торопливо снимали просаленные в походе фуражки и так же торопливо крестили запыленные лбы.

Кавалерийский полк шел как-то с песнями. Драгуны пели веселую украинскую песню:

Ой, знаты, знаты, хто нэ жонатый.

Билые ручэньки, червонэ личко.

Ой, знаты, знаты, хто нэ жонатый,

Скорчився, зморщився, тай и зажурився.

Но песенники, увидев крест со страшной надписью, снимали фуражки и крестились. Песня сама оборвалась.

– Наверно, за душегубство, какой-то расстрелянный... – слышалось по рядам.

– Такой же как и ты, душегуб. За курицу, всего только.

– За ку-ри-цу? Что ж выходит, что солдатская душа дешевле куриной?

– А ты думал? Так и выходит. Курку за рупь купить можно, а солдат ничего не стоит.

К кресту подъехал высокий заслуженный вахмистр. Он прислушался, что говорят солдаты и скомандовал:

– А ну проезжай, что ли! Какие разговоры повели. Сами курки с роду не ели, а тоже, астрономы... Как и исть то ее не знают.

– Да нет, за войну-то понаучились трошки, – пискнул какой-то озорной голосок из-за спины других.

– Я вот те научу, так забудешь, как ее и звать. Вот как спробую по шее, так не захочешь ешшо... Ишь ты, рраспусттился! Почему не поють? А ну, заводи! – Песенники подтянулись, запели, но без прежнего увлечения. Песня снова сама замолкла.

По селу бродили казаки. Ехавший впереди одного эскадрона командир спросил:

– Это не вашего там хлопнули?

Подтянувшийся казак щелкнул каблуками и с особой отчетливостью отрапортовал:

– Н-ник-как нет, ваш-высоко-бродье. У нас энтими делами не занимаются.

– Ишь, ты! Какие вы. А сам, наверно, только что курицей закусил?

Казак, поддавшись простому обращению с ним офицера да еще чужого, невольно потерял подтянутость и попросту, по-мужицки разведя руками, сказал:

– Так ить ваш высоко... ить война. В ней война и курам и бабам. Она всех кладет под одни ряд.

– Значит: «а ля гер, ком а ля гэр»? – сказал ротмистр. Казак, ничего не поняв, все-таки не растерялся и повторил скороговоркой:

– Так тошно, ваш-бродь, лагэр, калягэр.

Ротмистр не удержался от смеха и, повернувшись к своему любимцу-трубачу, спросил и его мнения по этому поводу:

– Ну, а ты как, Чернуха? Одобряешь это дело?

– Так точно. Как же его не одобрять? Война. Известное дело, – и, почувствовав вольность, обратился к казаку:

– Скажите, пожалуйста, а что тут бабы не кусаются?

– Которые без зубов, не кусаются. А вам на што? – ответил казак.

– Да поцеловаться бы, что ли, с голодухи.

– А ты бы с мерином своим поцеловался. Гляди, какой он у тебя губастый, что твоя девка.

В драгунских рядах и среди стоявших среди улицы казаков послышался смех. Трубач, уже смущенный неудачей, будто так себе, ни для кого, ответил:

– Дюже слюнявый черт, а то бы...

Солдаты еще громче расхохотались.

* * *

Впереди, скрываясь за естественными насаждениями возле дороги, расположились орудия и артиллеристы. Какой-то канонир, вынув из зарядного ящика балалайку, надринкивал на ней:

«Выйду я на реченьку, посмотрю на быструю.
Унеси ты мое горе, быстра реченька с собой...»

Солдаты грустно слушали. Тут же стояли казаки и молодая галичанка с грудным ребенком. Ребенок сосал твердый солдатский сухарь и рассматривал солдат. Его гладили по головке, совали ему из карманов почернелые куски сахара. Каждый, конечно, давая, вспоминал и своих, таких же сопливых и чумазных, и чудилось им, что-то родное в этом ребенке, тянуло к нему, как и к этой немудреной песенке, что наигрывал артиллерист.

Мимо верхами проезжало два штабных офицера. Один генерального штаба с георгиевским темляком на эфесе шашки, другой в форме главного штаба. Вестовой их ехал позади.

Впереди шел бой. Оттуда доносились явственно грохот разрывов и пулеметная трескотня. По деревне проходили легкораненые, видимо, в этом бою. Запыленные, грязные, давно не мытые лица хранили усталость и только что пережитый страх боя. У некоторых лица забрызганы кровью. На повязках густые коричневые пятна запекшейся и засохшей крови.

Полковник главного штаба продолжал, видимо, начатый, разговор:

– Так э, вот, капитан, – обратился он к офицеру генеральной штаба. – Эта самая панна Ядвига и говорит мне: «Хочь до мне в лужку. Только я голая...» – Нет, вы понимаете, капитан, мое положение? Хочь до мне, мой котку. Ха-ха-ха. Это я-то котку...

И полковник залился неудержимым смехом, надув короткую шею и сузив глазки так, что действительно стал похожим на сытого пакостливого кота.

С ним поравнялся бравый пехотинец, раненный в руку.

– Ваше бродье, дозволите прикурить от вашей. Спичек нема...

Штабной полковник спустил свою руку с горевшей папиросой на уровень губ солдата. Тот подхватил ее двумя пальцами здоровой руки и прикурил.

– Покорно благодарю, ваше высокоблагородие. – Полковник, увидев свою папиросу почерневшую от грязи пальцев солдата, брезгливо сморщился и процедил сквозь зубы:

– Ну, братец, уж копыта-то свои ты бы мог помыть. Теперь уж бери ее себе.

– Неделю с окопов не вылазавши. Не то, что помыться, а и пить не было что.

– Ну-ну, хо-ро-шо, поговорил и довольно, – сказал полковник и снова повернулся к своему собеседнику, – Так э вот, капитан, я все про эту самую панну Ядвигу...

В этот момент над их головой просвистал трехдюймовый снаряд и разорвался за деревней. Полковник втянул шею в плечи и исподлобья косил, провожая воображаемый полет снаряда.

Молодая галичанка с ребенком бросилась во двор и почему-то заперла на щеколду калитку. Ребенок плакал. Над деревней просвистело еще несколько снарядов. Стелились низко и разрывались далеко за деревней. Очевидно, австрийцы нащупывали русскую батарею. Немедленно прискакал молоденький суетливый офицерик с приказанием от командира корпуса:

– Приказ командира корпуса, скрыть пехоту в кустах. Артиллерии огонь не открывать до приказа. Где командир батареи?

Пехота быстро расползлась по кустам, довольная, что ушла с глаз постороннего начальства. Командира батареи офицерик никак не мог отыскать.

– Слушаю, – сонно проворчал командир батареи, когда ординарец его отыскал. – Батарею они и так найдут, а я двое суток не спал... – и полковник опустил снова голову на траву и мгновенно заснул.

Впереди на стелившемся голом поле казачий полк отходил после неудавшейся атаки на австрийские окопы. На поле остались убитые и раненные казаки. Кто мог, плелся назад к полку. Один казак собственным плечом подпирал раненую лошадь, помогая ей идти. Другие ползли без лошадей, волоча винтовки за собой.

Командир казачьего полка снова выехал вперед и, размахивая шашкой, что-то говорил казакам. Через минуту полк снова пошел рысью на окопы. Потом дружно перешел в намет и так же дружно неожиданно отхлынул назад. На поле снова зашевелились упавшие с коней раненые, и остались лежать неподвижно убитые казаки. Лошади дико носились по полю.

Но вот из кустов выбежала пехота. Она высыпала так стремительно, с таким грохотом котелков, манерок и глухого говора, что сидевшие в кустах артиллеристы вскочили на ноги. От массы пехотных солдат поле мгновенно посерело и стало скучным:

– Эй, крупа! Куда сыплешься? – шутили артиллеристы.

– К вашему жареному на приправу. Ужинать с мясом будем.

– О, Господи! Спаси и помилуй!

– Не молись, за тебя бабка дома молится.

– Да ить как же не молиться, когда, может, и часу не осталось жить. Ишь, как сыплет.

– А энтих что же, всех покосило, что ли, лежат, не шевелятся... – все повернули головы на убитых казаков, лежавших, как шли, рядами.

Когда пехота вывалилась вся из лесочка и пошла по полю, австрийцы открыли по ней огонь. Казачий полк повернул и пошел вместе с нею на австрийские окопы. В деревне со стороны позиции примчался казачий разъезд. Все бородачи и с чубами.

– Что за войско? – шутили артиллеристы.

– Уральское казачье, – ответил бравый урядник, – не знаешь...

– Где ж тебя узнать, когда ты, как медведь, весь зарос волосами. И вовсе домовой.

Урядник ловко подъехал к офицерам и отрапортовал:

– Уральский разъезд, куда прикажете?

– Идите, догоняйте своих.

Казаки повернули и, вытянув правые руки в стороны с длинными нагайками, помчались, пригнувшись по-киргизски. Только пыль клубилась между мелькавшими в ней конскими ногами шустрых степняков.

Неожиданно австрийская артиллерия перенесла огонь своих орудий на подхлотившие наши резервы. Загремели разрывы тяжелых гранат. Взрывы поднимались далеко за селом, вырастая странными черными деревьями и исчезая так же быстро, как и появились. За деревней начались пожары. Жители в панике выбегали из хат и тащили свой незатейливый скарб. Тащили за рога коров и телят. Одну корову пробило насквозь нераззорвавшимся трехдюймовым снарядом. На миг и корова, и баба, казалось, не понимали, что случилось, так как корова все еще вертела хвостом, и баба ее тащила вперед. Слышался звон разбитых окон. Где-то пропел петух. Очевидно, со страху.

– Не всех еще кур поели наши, – проговорил штабной полковник лишь только для того, чтоб успокоить самого себя. – Вы знаете, капитан, у меня всегда отвратительнейшее чувство, когда я попадаю под огонь. Так бы, знаете, и залез куда-нибудь, под какую-нибудь щепку, ей-ей!

– Ну, скажем, под подол панне Ядвиге, что ли? – И капитан рассмеялся, но так и застыл с растянутым от улыбки ртом.

Полковник вдруг исчез вместе со страшным вихрем, пронесшимся мимо него. Сам он упал, не устояв на ногах. Несколько артиллеристов подбежали поднять его. Рядом бились в предсмертных судорогах три лошади, и валялся без головы их вестовой.

Одна лошадь рвала ногами свои кишки, путалась в них, умирая в страшных мучениях. Рот ее перекосялся, и глаза выражали нестерпимые страдания.

Подвергнувшись обстрелу, командир батареи не послушался приказа командира корпуса и по собственной инициативе открыл по австрийцам огонь.

Быстро нащупал австрийскую артиллерийскую позицию и ударил из всех орудий по ней.

– Огонь! – командовал он. – Первое, второе, третье... Огонь, четвертое! Прицел... трубка... Огонь!

Тяжелые трехдюймовые стволы откатывались при выстрелах и мигом закатывались обратно. С наблюдательного пункта звонили.

– Что? Говори толком! Что? Перелет? Сколько? – И, оторвавшись от трубки, снова командовал:

– Огонь! Бат-та-р-р-ея! Огонь! Бат-та-рре-я!

Дрожала земля. Уносы с зарядными ящиками беспокойно топтались на месте, но видно было, что лошади уже привыкли к стрельбе.

Батарея удачно нащупала противника, так как оттуда замолчали. Казачья конница пошла вперед, и вот тогда прискакал молодой офицерик с приказанием открыть по австрийской батарее огонь.

– Слушаюсь! – ответил иронически полковник-артиллерист и начал набивать свою неизменную трубку.

Через поле в нашу сторону брели раненные австрийцы и наши, мирно куря общий табак и разговаривая на непонятных им языках.

* * *

В деревню, где только что была батарея, начали втягиваться с тыла подкрепления. Вошли уланы и гусары. Тут же брели пехотинцы. Со стороны боя, как шар, катился по полю уралец-казак. Ног его маштака не было видно. Только пыль клубом неслась. Влетев со всего разбегу в деревню, он остановил своего гнедого перед уланским полковником:

– Ваш... высоко... Иде гусарский и уланский полки?

– Здесь. А тебе что, братец?

– Приказ... началь... дивиз... чтоб... на рысях... Чтоб немедленно... Драгунский и наш полк уже по три раз ходили в атаку. Силов боле нету. Австриец бегить почем зря. Нам в догон, значить, ваш... высоко...

Два полка дрогнули и рысью пошли по дороге. Пыль скрыла их и из нее торчали только пики с флюгерами.

– Черт знает, какая пыль. Этак мы и под обстрел попадем, – ворчал ротмистр из первого эскадрона. Он чистым платком протирал глаз, все вспоминая, в какую сторону, к глазу или от глаза нужно тереть.

– Повод, повод вправо! – догоняла волной команда сзади. Полковник принял сам вправо и повторил эту команду.

Его перегнал элегантный полковник конно-горного артиллерийского дивизиона с толстым стеклом в руке. Его породистый жеребец плавно раскачивал своим могучим телом, показывая уланам свой мощный зад и блестящие подковы. Шел он, как машина.

– Знаете, кто это? – спросил ротмистра полковник.

– Нет.

– Это полковник Ширинкин, славный конно-артиллерист. У него георгиевский крест за ат-та-ку кавалерии. Э? Не дурно? А? Вот с этими своими молодцами он, чтоб не отдать свою батарею австрийцам-мадьярам, оставшись без прикрытия, как это, к сожалению, у нас часто случается, посадил всю прислугу на коней и атаковал сам. Вот, батенька, номер. Небывалый в артиллерии всего мира. Такому не жаль дать крест, хотя такой номер статутом и не предусмотрен.

– Вообще, наш статут довольно таки устарел. Хотя бы взять параграф номер 7, за не установление связи у потерявших ее полков.

Ротмистр был недоволен статутом, так как его как раз и прокатила георгиевская кавалерская Дума по параграфу седьмому.

– Какой же, скажите, идиот – командир части сознается, что потерял связь с соседом, когда его самого могут за это отрешить от командования частью? Чистейший абсурд! Подписать себе смертный приговор. А то еще вот. Здесь, на австрийском фронте, сплошь и рядом можно привести пленных более своей части, и за это полагается верное «Георгиевское оружие». А вот попробуйте проделать это с немцами. Там этот параграф кусается и очень больно. Что-то не было, кажется, случая, чтобы кто-нибудь привел пленных более, чем он имел своих солдат. Да.

– Хотите папироску? – спросил полковник, которому надоели уже эти разговоры давно. Он вынул из кармана две помятых папиросы и протянул ротмистру:

– Извините, ротмистр. Помялись. Спал сегодня прямо в шинели. Так было сыро. Там в долине.

Полки вытянулись за деревней и, пересекая широкое поле, на котором только что прошла пехота, широким аллюром пошли туда, где еще продолжался бой.

В деревню на их место вошли вооруженные люди, странно одетые. Шли они не в ногу, кто как хотел. Винтовки несли по-охотнички, или на плече, или на ремне, или просто в руке.

В лохматых папахах, несмотря на весеннее время, кто в накинутой бурке, кто в серой черкеске, а то просто в бешмете. На ногах редко у кого сапоги, больше пасталы и чувяки с наговицами, завернутыми ниже колен и опущенными.

Шли мягко, не стуча каблуками, и не пыля. По рядам шел гул голосов. Разговаривали, курили. Лица запыленные, загорелые, и мужественный нахмуренный взгляд, как у стариков, так и у молодых. Шли вместе и пятидесятилетние, и зеленые восемнадцатилетние. Немало было и стариков совсем седых.

Молодежь видимо подражала во всем старикам: и в походке, и в манере носить снаряжение. У стариков можно было видеть георгиевские затасканные в боях ленточки с крестиками. У молодежи новенькие, недавно заслуженные. Шли не торопясь, покуривая свой домашний тютюн. Дым от него стелился и напоминал о покинутых ими родных хуторах далеко на Кубани.

Впереди шел старый седой есаул, с запорожскими усами. Рядом с ним трое молодых казаков, может быть, его дети, племянники или внуки.

Когда вошли в село, есаул густым прокуренным голосом затянул старинную солдатскую песню. Эту песню пели и славные защитники «Орлиного гнезда» из войск фельдмаршала Гурко, и участники «замирения» Кавказа, и лихие сибирские стрелки в Манчжурии, и скобелевские «орлы» в Ферганской долине. И применительно к месту действия упоминалась и долина.

Шли кубанские пластуны, славная казачья пехота, неся весть о своих подвигах от Севастополя до Карпатских долин. Теперь их перебрасывали на новый участок. В них везде была нужда. Недаром каждый начальник желал иметь в своих рядах и кубанских пластунов.

«Уж полночь наступает, луна горит светло.
Отряд наш выступает с бивака своего.
Горные вершины, увижу ли вас вновь?
Карпатские долины – кладбище удальцов...»

Пели казаки. А впереди стелилась широкая долина, только что оставленная наступающими русскими войсками и усеянная их трупами.

Высоко в небе вдали возникали бесшумно белые клубочки, увеличиваясь в размере и, распухнув до предела, исчезали, растаяв. То души павших в боях возносились к небу, молча и покорно.

Сбоку от села спешно работали резервные части, копая огромную братскую могилу. К ней стаскивали убитых русских и австрийцев. Бесперывно играли два пехотных оркестра.

Пополненные музыкантами-профессионалами из запаса, оркестры прекрасно исполняли похоронные марши знаменитых композиторов.

В воздухе-то слышались призывные сигнальные рожки, то грозно грохотали барабаны, и рокотали басы.

Небо спокойно внимало человеческому несчастью, распространяя вокруг теплоту майского дня. Тихий ветерок сбивал белое цветение плодовых деревьев и покрывал им, как саваном, безвестную «братскую могилу».

«Кровию венчались еси... Имена их Господи веси...» – произносили священники, тоже по очереди, непрерывно служа литии.

Санитары деловито и хозяйственно складывали убитых поплотнее, чтобы больше вместились, и ходили по трупам, укладывая ряд на ряд.

Издалека еще доносился глухой смех пулеметов, и ветер гнал сюда солдатскую песню:

Не пылит дорога, не дрожат листы.
Погоди немного, отдохнешь и ты...
Горные вершины... увижу ли вас вновь?
Карпатские долины, кладбище удальцов...

«Русская мысль», Париж, 27 июля 1955, № 783, с. 6–7; 3 августа 1955, № 785, с. 6.

Могильный курган Из воспоминаний

– А что это за имение? – спросил полковой адъютант какого-то оборванного шахтера, кovyрявшего так старательно в носу, что казалось, что он вытащит из него что-то необыкновенное. Шахтер молчал, пока не кончил своего занятия и, наконец, очевидно убедившись, что из носа ничего дельного вытащить все равно не удастся, ответил:

– Это имение.

– Знаю, что имение, а чье?

– Та, там живет одна барыня с тремя дочками и на музыке играют...

Проходившая курносая девка с подоткнутым подолом так высоко, что видны были даже ее заскорузлые коленки, улыбнулась весело офицерам и звонким голосом прозвенела:

– Именье. Иллирия, зоветься, а по-нашему значить, Ры-лов-ка...

– Слушайте, – обратился ко мне полковой адъютант, – если сегодня не пойдем дальше, пойдемте с вами в имение, вы ведь играете на рояле, потанцуем с девочками...

Уже подъезжая к месту ночлега, мы окончательно решили с адъютантом под вечер отправиться в имение и познакомиться.

В 8 часов вечера темное небо застало полкового адъютанта за тщательным бритьем бороды при огарке сальной свечи.

– А вы не будете? – спросил меня адъютант, жестом показывая какие-то знаки в воздухе, очевидно обозначающие движения бритвы по щеке. Я ответил, что не буду, так как из-за одного вечера не хочу терять бороду, которую холил в течение нескольких месяцев для придания более штаб-офицерского вида своей фигуре. Мне было тогда всего только 30 лет. Адъютант окончил бритье и мы стали прихорашиваться.

Почистили сапоги, почистили от пыли свои черкески, сняли ненужные в гостях башлыки с плеч, оправили свое оружие, а это было необходимо, ибо мы отправлялись на бой с женским полком, капитулирующим только при виде вооруженных мужчин.

Но в дверях при выходе вестовой адъютанта, черноморский казак по имени Козел, основательно меланхоличный и достаточно тупой, доложил нам, что «в удругий раввин нэ будэ давать нам огарка, бо это його огарок, а вот у него есть летучка от штаба дивизии».

– Ну так давай опять свой огарок, – приказал ему адъютант.

– Ни, нэ дамо. Бо это мий огарок. Я его украв ще в Дэбальцево, и мини он самому нужен, – спокойно ответил Козел.

Конечно, по закону всех стран Козел был прав, не желая отдавать свою личную собственность другому. Но по закону войны он не имел права отказать офицеру в огарке, необходимым для прочтения «летучки» из Штаба дивизии.

Хотя полки и становились на трехдневный отдых по приказу того же штаба дивизии, все-таки нужно было и поинтересоваться, что писалось в новой летучке. Потому после короткого и энергичного разговора с Козлом, с обещанием его посадить под арест, мы добились под его ворчание и упоминание шепотом чьих-то родителей, его огарка. И прочли, что отдых наш отменяется, и полки немедленно должны выйти из Рыловки и идти на северо-запад. Это уж был, выходит, приказ не нашего штаба, а Красного, отменявшего наш отдых своим неожиданным появлением перед Рыловкой.

Найдя командира полка, я сообщил ему эту неприятную новость, и через полчаса полк уже оставлял Рыловку с ее имением, девочками, барыней и роялем. Собирались тихо, рассчитывая напасть на негостеприимных большевиков. Казаки потихоньку поругивали их, лошади, оторванные от кормушек, тяжело вздыхали пустыми боками, недоумевая, почему люди часто не позволяют им доедать и без того редкое овсяное кушанье. Полки вышли на дорогу.

Впереди шел второй полк, потом третий, потом четвертый и, наконец, наш первый. Такой порядок вызывался ежедневной очередью. Как известно, на походе труднее идти заднему, чем переднему, и, кроме того, передний более рисковал наскочить на засаду. Как известно, гражданская война была чисто партизанская и неожиданные нападения одних на других были частыми и притом излюбленными явлениями. Сотнями и полками с обеих сторон командовала молодежь, быстрая, и решительная с практикой предыдущей первой мировой войны. Наш командир, храбрый и грубоватый линеец, с орденом Св. Георгия 4-й ст. за Турецкий фронт, был моложе меня двумя годами жизни и двумя годами в производстве, что не мешало ему быть настоящим командиром полка. Гражданская война выработала в нем готовность ко всякому неожиданному налету красных, и в практике боев он придерживался всегда одного строя: четыре спешенных сотни в бою, две конных под моей командой в резерве, на случай прорыва, обхода и преследования.

Как известно, при спешивании в линию боя попадают только две трети всадников, одна остается с лошадьми в укрытии. Поэтому две сотни конных равнялись по составу четырем сотням спешенным, и выходило, что в бою участвовала всегда половина полка, а к концу присоединялась и вторая половина. Если же день кончался в ничью, то резерв нес сторожевое охранение ночью.

* * *

И так мы двигались со всеми предосторожностями по какой-то все возвышающейся степи, по пыльной дороге. Направо и налево стояли черные массы кустарников, и казалось, что из-за них на нас смотрят тысячи глаз и готовят нам неожиданный сюрприз.

В полночь, усталые и сонные, мы вдруг услышали отчетливую пулеметную очередь, подхваченную, словно собачьим лаем, другими пулеметами и по всей линии нашего движения залаяли эти стальные собаки.

Дорога все поднималась небольшим уклоном в гору. Пулеметная стрельба нас не особенно удивила и не испугала, так как мы знали, что впереди целых три испытанных в боях полка с хорошими командирами.

Но мы забыли, что была темная ночь. Эта темнота и сделала то, что потом случилось. Второй полк, шедший впереди был неожиданно обстрелян, попав на крупную заставу красных и «спросонь» шарахнулся назад, сбив свои обозы и налетев на третий полк. Тот, ничего не понимая, вступил с ним в рукопашную...

Наш командир благополучно дремал в тачанке, а я и адъютант шли, опершись руками на задние дробины тачанки и тоже подремывали. При общей неразберихе тачанка командира вместе с ним перевернулась, а мы, схватив лошадей, метнулись вправо на бугор, чтобы не быть раздавленными обозами третьего полка, и остались в одиночестве.

Где-то катилась живая масса вниз с крепкой руганью и криками, привлекая к себе пулеметные очереди, а мы стояли на каком-то бугре, и пули свистали возле нас, как осы. Наконец, все как-то сразу стихло. Мы поняли, что вся масса полков скатилась вниз и решили объехать возвышенность, на которой стояли, надеясь, что двух всадников пулеметчики не заметят в темноте. Но забыли то, что мы, стоя на высоте, были прекрасной мишенью для пулеметчиков, находившихся много ниже нас и видевших наши силуэты на фоне серого неба.

При первых же наших шагах пулеметы заговорили снова уж прямо по нас, и через минуту адъютант, схватившись за меня, начал падать с лошади, говоря:

– Убили, сволочи, прямо в печень!

Я начал его успокаивать, но чувствуя, что тело его валяющееся на меня, становится тяжелее и тяжелее, и что мне за ворот льется что-то теплое и жидкое, когда его голова легла мне на плечо. И, наконец, оба мы свалились на землю. Он мертвый, а я, стянутый его тяжестью.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если б из темноты не выдвинулись силуэты двух всадников. Я отскочил в сторону, выхватив револьвер, и крикнул:

– Кто бы вы ни были, красные или белые, возьмите раненого!

– А это вы, мы як раз вас и шукаэмо! – услышал я из темноты.

Подъехали наши вестовые. Мы подняли смертельно раненого адъютанта и повезли в Рыловку. Там, исследовав его тело, нашли только одну пулевую рану в печень. Больше мы не нашли ни одного пулевого отверстия ни в его одежде, ни в седле и на лошади. Также не было ничего найдено и у меня.

Командир полка приказал мне принять временно адъютантскую печать, сохраняя должность командира дивизиона. По этой новой должности я в первом же бою на другое утро находился возле командира.

* * *

Мы лежали на той возвышенности, на которой был убит наш адъютант. Сотни рассыпались в пешую цепь и вели перестрелку с большими частями красных. Мы устроились на кургане так, что пули свистели у нас над головами, не давая нам поднять голов, но позволяя комфортабельно развалиться на склоне кургана и наблюдать за боем. Мой резерв стоял в прикрытии возле.

Красные что-то не решались напасть на нас или готовили какую-нибудь каверзу. Но обстреливали нас достаточно интенсивно. У нас же было мало патронов и мы отвечали лениво, ожидая патронов из Рыловки.

Начинало вечереть, и красные усилили обстрел, очевидно, с целью расположиться на наших, более защищенных, позициях или даже влезть в самую Рыловку.

Бой носил такой обыденный характер, что даже становилось скучно. Монотонная стрельба винтовок с обеих сторон, пулеметные очереди и оружейная пальба, все это было так знакомо за две войны, что просто уж надоело до чертиков.

Я лежал на спине и смотрел назад на свой резерв. Там люди расположились кто как с оседланными лошадьми. Кто ел хлеб, кто пил воду, кто чинил сапог или на себе зашивал разорванные штаны, многие старались чем-нибудь подкормить своих коней и таскали им пучки травы или сена из хозяйских копен недавно скошенной травы.

Вдали показался скачущий на резвом коне всадник. Он шел хорошим аллюром. Шел из тыла, где должен был быть командир дивизии. Лошадь каким-то пыльным клубком катилась как шар по пыльной дороге, на всаднике развивался красный башлык и полы серой черкески. Папаха сдвинута на затылок.

Вот он уже близко, осадил коня, спросил что-то у пеших казаков и снова помчался уж прямо к нам. Под курганом словно упал с коня и, оставив его, начал легко подниматься на курган. По пути он снял папаху и, вынув кусочек белого бумажного листика, расправил его, видимо готовясь передать в приличном виде командиру полка.

Вот он уже совсем возле меня. Я вижу простое спокойное лицо, с солдатским хладнокровием исполняющего приказание посланного его с донесением.

Боясь, что он слишком поднимется на кургане, и его голова войдет в обстреливаемую зону воздуха над нами, я делаю ему знак остановиться. Вижу его загорелое казачье лицо с налетом пыли и любуюсь его линейской выправкой. Все на нем хорошо пригнано, кинжал туго притянут к животу, шашка не болтается и сам он хорошо скроенный молодец. Но командир полка невольно сделал неосторожность и протянул руку за донесением. Казак сделал шаг вперед и только приложил руку к папахе, тут же упал, сраженный пулей в лоб...

Подняли бумажку, выпавшую из рук убитого, и прочли за подписью начальника дивизии:

– Урядник Лозовский на словах передаст мое приказание, которое и исполните к семи часам вечера. – Нач. див. (подпись). Адъютант дивизии (подпись).

В гражданскую войну часто прибегали к такому способу передач приказаний, чтобы содержание донесения не попало к красным, говорившим с белыми на одном русском языке.

«Русская мысль», Париж, 8 октября 1960, № 1588, с. 6.

Тризна

Был апрель 1919 года. Я только что прибыл на фронт, где шли переменные бои, исключительно кавалерийского характера и с переменным успехом. То мы гнали красных, то они подавали нам пару и мы, отойдя, с рассветом снова бросались на них. Белая армия только что в успешном развитии наступления вышла к Дебальцево и полк наш занял поселок Чернуха, а в Дебальцево были красные. Всю ночь мы провозились с разрушением ж.д. полотна вручную, чтоб не делать шума и к рассвету преподнести красным сюрприз для их бронепоезда. С рассветом, они, увидев разрушенный путь, начали обстреливать трехдюймовыми орудиями Чернуху. Дивизия развернулась для пешего боя и повела наступление на Дебальцево.

Четыре спешенных сотни полка сшиблись в горячей перестрелке с красногвардейцами, защищавшими Дебальцево.

Я был новый человек в полку, никого не знал, ни казаков, ни офицеров, кроме моего вестового Ивана Тризны, служившего мне всего несколько дней. Как и большинство всех вестовых, т. е. конных казаков, обслуживающих своих офицеров в качестве денщиков и по уходу за лошадьми, Тризна не представлял исключения: был ловок, расторопен, находчив и незаменимым мне помощником и днем и ночью. За моей и своей лошадью ухаживал ревностно и не менее ревностно за мной. Чуть свет у него уже готов был завтрак, чаще всего вареные яйца, хлеб, творог и масло.

Иногда курица, неизвестно каким путем попавшая в его переметные сумы.

Прошло много лет после неудачной для нас – Белых – войны и многое поветрилось из постаревшей памяти, к сожалению, даже важных событий, но зато некоторые совершенно незначительные для хода войны случаи врезались в память на всю жизнь и, очевидно, умрут вместе с нами.

В тот год на Украине стояла теплая весна, зеленели кустарники, в воздухе плыли перламутровые облака, под ними резвились жаворонки, на земле иногда прыгали суслики, и жизнь в природе шла своим чередом, не обращая никакого внимания на безумную братскую войну с ее ужасным истреблением.

Во время боя командир полка, находившийся в Чернухе, увидев, что против нашего полка красные начали сильно нажимать, приказал мне немедленно скакать к резерву, т. е. к двум нашим сотням, и повести их в конном строю на предполагаемый прорыв красных. Во весь опор мы мчались с Тризной по узкой улице опустевшей от жителей Чернухи, попадая под обстрел шальных пуль, когда пересекали переулки. В одном из переулков лошадь подо мной была убита. Не успел я подняться с земли, как передо мной уже стоял Тризна и говорил:

– Як не ушиблись, то сидайте на мою, а я пиший за Вами.

Несмотря на серьезность положения, мне невольно вспомнился Василий Шибанов – А. Толстого.

«Скачи, князь, до вражьего стану.
Авось я пешой не отстану.»

Атака красных в этом месте была отбита. Но подо мной была убита лошадь моего Тризны. Видя меня пешим, он подбежал ко мне, спросить, что случилось. Я сказал ему и приблизительно указал место, где лошадь была убита, и разрешил ему бежать и снять седло и уздечку.

В тот вечер, смененные вторым полком, мы за курганами по-военному – мирно, т. е. скрытые от противника, ужинали. Была Пасха. У казаков появилась всевозможная станичная снедь в виде куличей, полендвиц, колбас, сушеных фруктов, крашенных яичек и белого хлеба,

т. к. только что прибыл транспорт подвод с Кубани. Я подошел к одной из групп, пригласившей меня разговеться. Один из казаков протянул мне оклунок со станичным гостинцем:

– Это Вам, – сказал он.

Будучи новым человеком в полку, я, конечно, не мог рассчитывать ни на какой «гостинец» из станицы и потому спросил:

– Чья же эта посылка? – Предполагая, что это какому-нибудь, уже убитому, казаку, и не ошибся.

Война делает людей малочувствительными, и потому я, поблагодарив казаков, преспокойно вытянул из оклунка приличный кусок сыра и жирной колбасы, принялся было закусывать. Но все-таки спросил:

– А где же хозяин этой посылки?

Несколько казаков, молча, кивнули в сторону чего-то сереющего в траве.

Я пошел посмотреть. Под винцерадой лежал человек, с торчащими из-под нее ногами в сапогах. Голова была прикрыта углом винцерады. Я приподнял угол. Раскрытыми мертвыми глазами на меня смотрел мой верный вестовой Тризна, убитый в тот же день.

Оклунок я положил возле него и, не дотрагиваясь до пищи, пошел прочь.

«Родимый край», Париж, март-апрель 1960, № 27, с. 25–26.

В степи Сорок лет назад

Как-то в октябре или ноябре, не помню, мне пришлось ехать одному верхом в 1920 г. по таврической степи от д. Рождественской к Чонгарскому мосту, через Сиваш.

Солнце только что взошло и косыми розовыми лучами покрывало однообразную степь, уже побуревшую перед южной осенью.

В воздухе чувствовалось приближение российских северных холодов и с ними приближение к нашему убежищу красных полчищ, двигавшихся густой волной на Крымский полуостров, защищаемый нами с севера, в Таврической степи.

Прошли бои под Ореховым, под Никоподем, под Каховкой и предчувствие и здравый смысл подсказывал каждому, что наши дни сочтены, что защита Крыма только для того, чтобы продержаться. Ибо слухи о предстоящей эвакуации Крымской армии Врангеля уже пробивались в ряды на фронте.

Обманчивы были надежды оптимистов, как обманчиво было и тепло, еще гревшее днями, как обманчивы были и прохладные ночи, готовые перейти в настоящую стужу. Холодно было на сердце. С моря же тянуло еще остатками летнего тепла.

Я ехал от Рождественской к Алексеевке. Там должны были проходить наши обозы, где было мое теплое обмундирование.

Очутившись один в степи, я заметил вдали что-то белое, розовевшее под лучами восходящего солнца. Кроме того, по всем направлениям степи двигались какие-то массы, напоминавшие большие стада, маячившие то темными, то светлыми пятнами, в зависимости от освещения данного места солнцем.

Впереди в воздухе парил большой орел. Он кружился и рассматривал что-то на земле. Очевидно, его интересовал замеченный мною белый предмет.

Я знал, что в этом месте сравнительно давно уже не было боев, и потому трупов не должно было бы быть. Бои здесь только начинались, и позади меня на западе гремела дроздовская артиллерия и слышалось дружное ура.

Между тем орел, описав большой круг, плавно опустился на землю. Я обратил внимание на то, что хищник не упал камнем на живую жертву, а спустился плавно, видимо уже на готовое. Вглядываясь вперед, я медленно продвигался к белому предмету. Уж очень подозрительной казалась мне степь на этот раз. И, приглядевшись, увидел орла, сидевшего на этом белом, что я видел издали. Направил лошадь к нему, оглядываясь по сторонам. При моем приближении орел неохотно взмахнул большими крыльями и, медленно оторвавшись от земли, снова поднялся в воздух. Я подъехал вплотную.

На жесткой бурой траве лежал распластанным человек в белье, очевидно раздетый по обычаям гражданской войны до белья, убитый. Лошадь моя, почувствовав труп, захрапела и попятилась назад. Я слез. Передо мной лежал, раскинув руки и устремив в небо лицо, молодой человек – парень не более 18–19 лет. Белое белье и такое же лицо почти одинаковые. Один глаз смотрел мертвым взглядом ввысь, другого не было. Вместо него зияла глубокая рана. Глаз выклевал орел. Сев на лошадь, я осмотрел снова степь и увидел приближавшегося ко мне сзади всадника на рыжем хорошем коне.

На нем английская шинель и башлык, закрывавший его плечи, кавалерийская винтовка и кавалерийская шашка. Кавалерийское и седло. Хотя в гражданскую войну нередко можно было видеть и казака во всем кавалерийском, но всадник по всем ухваткам не был казаком. Подъехал он медленным шагом, испытующе рассматривая меня.

Определить, к какой из двух враждующих русских армий он принадлежал, было совершенно невозможно. Лишь то, что всадник этот появился с запада от меня, наводило на мысль,

что он может быть белый. Я же был одет в бурку, прикрывавшую английскую шинель, и все мое оружие было скрыто под ней. Свободной рукой я потрогал свой наган, поджидая приближения всадника. Перед тем как нам съехаться, я еще раз оглядел всю степь и убедился, что мы совершенно одни в ней. Лошади наши мирно приблизились и, дружелюбно приняв нас, уже терлись шеями одна о другую, в то время как мы подозрительно осматривали друг друга. А, заговорив, отделялись отдельными незначившими словами и фразами, не прекращая наблюдения.

Уже вместе мы наехали на еще одинокий труп, тоже раздетый до белья. И так, пока, как говорится «хватал глаз», перед нами все появлялись новые и новые трупы, раздетые и босые. На перекрестке двух проселков лежала разбитая двуколка. Возле – куча прекрасного крупного овса, видимо, реквизированного из посевных запасов какого-нибудь помещика или зажиточного крестьянина-тавричанина. Тут же лежало несколько пехотных винтовок и разбросаны кучи патронов в обоймах и россыпью. Но убитой лошади не было.

Я предложил моему спутнику разнуздать наших коней и пустить кормиться овсом. Он это сделал с охотой. Кони же с удовольствием сунули свои голодные рты в кучу овса и, рассыпая его расточительно, жевали со смачным хрустом.

Мы были совершенно одни на небольшом степном участке, и стоило, казалось, только одному из нас неосторожно выдать свою принадлежность к той или иной воюющей стороне, и мы бы может быть бросились друг на друга с оружием, и один бы наверно остался лежать здесь вместе с этими раздетыми парнями.

Оглядывая беспрерывно всю степь от края до края, я, наконец, выяснил, что удаляющаяся стада – не стада, а конные группы, уходящие на восток. Но я знал прекрасно, что белой конницы здесь быть не могло сейчас, когда она истекала кровью в бою под Рождественской. А другая часть ее находилась много севернее...

* * *

Вдруг мой взор уловил на юге небольшую хатку, почти вросшую в землю, от которой отделились два всадника. Издали они походили на оловянных маленьких солдатиков. Фигурки шли хорошим аллюром. Вскоре их заметил и мой спутник. И несколько минут спустя мы уже ясно различали масти их лошадей и их одежду. Первый, шедший на прекрасной лошади вороной масти, был сам в бурке. За ним второй, видимо вестовой, был одет в шинель с закрытыми плечами башлыком.

– Копия нашей пары, – подумалось мне.

Под первым был конь настолько хорош, что я невольно залюбовался его экстерьером, несмотря на серьезность положения. Породистая маленькая голова, хороший храп, прекрасная грудь, стройные, крепкие ноги. И вот они уже близки для выстрела.

Я все не решаюсь принять решительных действий по отношению к ним, так как еще не уверен, что это враги. Но какой-то внутренний голос мне говорит об осторожности. Ни взнуздать коней, ни подтянуть подпруги у нас уже нет времени, как нет времени на тяжкодумье. Оставался только один выход – не допустить их до себя, кто бы они ни были. Я наблюдаю за поведением моего спутника. Но он, видимо, еще в большей нерешимости, чем я, и видимо, в этот момент предоставил мне свою судьбу.

Тогда я решительно поднимаю с земли пехотную винтовку и, сунув несколько обойм с патронами в карманы, заряжаю винтовку целой обоймой и подаю один патрон в ствол. Беря на изготовку, приказываю самым суровым тоном, помня, что солдат решительному приказанию всегда подчиняется рефлекторно и скорее:

– Мой первый, твой – второй! – командуя я и прикладываю ружейный приклад к щеке. Вижу, скосив глаза на миг, что и мой спутник делает то же самое. Замечаю, что всадники на

наш маневр реагируют некоторой смущенностью и еле заметно придержали коней, идя все-таки прямо на нас. Вот уже чудится, что они выхватят клинки и бросятся на нас.

Пехотинец всегда боится лошади, вернее ее копыт. Всадник боится пехотного штыка и пули. Все дело только в выдержке. Вот они уже в сотне шагов, идут все тем же резвым галопом. У меня до сих пор и, видимо, на всю жизнь останется запечатленным фотографический снимок в моих глазах этого бравого всадника, превосходно сидящего на казачьем седле со смелым выражением смуглого лица и черными распущенными усами. Я все еще не решаюсь стрелять, чтоб не убить своих.

Вот они уже от нас не дальше как в пятидесяти шагах и я решаюсь.

Вижу на мушке ствола вороную голову лошади и целюсь в нее, зная, что промахнувшись, попаду всаднику в живот. Все мускулы напряжены. Сознание работает прекрасно и у меня даже находится время (если можно было назвать тот миг), чтоб взглянуть на моего спутника и убедиться в его поведении. Он тоже целится.

За сотую секунды я вдруг слышу:

– Овсецом подкармливаете?! – И всадник круто, клоня лошадь поводом направо, поворачивает с дороги в сторону, его спутник делает то же самое. Пущенные уже не вдогонку им пули, а мимо, так как курки были уже нажаты, и резкий рывок поводов вправо вывел всадников из нашей цели. Они, почувствовав опасность, рванули в карьер, пошли широким скоком, бросая в нас комья вырванной подковами сухой травы.

Значит, они приняли нас, может быть, в последний момент за врагов. И значит, такая возможность была реальна. Иначе они, отойдя на расстояние, наверно бы остановились, хотя бы для того, чтоб нас хорошо выругать. Но они пошли к тем «стадам», что маячили в утреннем блеске травы и, конечно, были не стадами, а конными массами. И достаточно крупными. Мне показалось, что этого первого всадника я где-то видел раньше.

– Кто это? – спросил меня мой спутник. Видимо он только что пережил большой страх. Лицо еще было серое и на глазах слезы. Теперь я только заметил, что он был очень молод, почти мальчик.

– Не знаю, – ответил я, подтягивая подпруги и взнуздывая своего коня и злясь на свою беспечность. Ибо при желании со стороны этих двух неизвестных нам всадников мы бы были отлично ими изрублены, да еще, если б мы промахнулись, стреляя в них. В этом – постоянное преимущество кавалериста перед пехотинцем, в положении которых мы со спутником оказались.

Между тем оба всадника присоединились к одной из групп и скрылись среди них. Мы тоже сели на своих коней и пошли рысью в их направлении, так как я все-таки был больше уверен в том, что это были белые, и только явная их неуверенность в нас наводила на подозрение, что здесь могли быть и красные.

* * *

По дороге снова трупы и трупы, и все раздетые до белья и молодые ребята. Неотвязчивая мысль не отставала от меня и я, все всматриваясь вперед, придумывал всякие догадки: «почему брошена добыча – винтовки, повозки, фураж?»

Это обстоятельство и казалось мне очень странным, и невольно в душу закрадывалась тревога. Может быть, мы попали в район красных по какой-нибудь случайности? Может быть, противник уже позади нас?

Так молча, все время раздумывая, мы ехали до сумерек, не встретив ни одной живой души. Везде были только трупы. Вдали послышалась русская заунывная песня. Мы направились в ее направлении и вскоре подъехали к греющимся у больших костров солдат. Все были

одеты в русские шинели с поднятыми на уши башлыками. Так же как и у меня, многие были в бурках. Остальные были одеты, как мой спутник.

– Какая часть? – крикнул я в темноту, лишь для того, что-бы вольно вспомнился случай из «Войны и мира», когда Петя Ростов с Долоховым подъехали к французскому отряду. Так же была ночь и костры, и все были одеты одинаково. На мой вопрос несколько голосов ответило:

– Первая казачья дивизия!

Этот ответ мне ровно ничего не говорил. Первая казачья дивизия могла быть и у белых, и у красных. Тогда я спросил, пойдя на хитрость:

– Какого корпуса?

– Первого! – снова услышал я несколько голосов. Мне даже показалось, что-то насмешливое в этих ответах, и я насторожился. Не останавливаясь, сохраняя внешнее хладнокровие, чтоб и мой спутник не сообразил ничего, я продолжал двигаться шагом мимо костров.

«Кто эти люди, и среди какого океана мы со спутником плывем?» Казаки все пели свои заунывные песни о станине, казачке, изменившей казаку, о тихом Доне и Кубани.

Только в одном месте пели уральскую казачью про Икан. И эта песня меня окончательно убедила, что мы среди красных, так как целых уральских частей, да еще и конных, не могло быть в Белой армии. Толкнул в бока лошадь и пошел рысью. Мой спутник не отставал от меня ни на шаг. Хотелось есть и спать. И, увидев впереди приветливый огонек, я направил на него своего усталого мерина.

* * *

Вскоре мы натолкнулись на забор из поставленных стоймя шпал, сквозь которые и светил огонек. Мы обогнули его и въехали во двор, где я рассчитывал выяснить у жителей, среди кого мы находимся.

Под навесом стояло несколько оседланных лошадей. Были и казачьи и кавалерийские седла. Мы, по молчаливому соглашению, поставили своих рядом, не расседывая, так как и те кони были оседланы.

«Значит обстановка боевая и нужно быть начеку», – решил я, поправляя под буркой револьвер. Из хибарки, сложенной тоже из шпал, вышел кто-то в нижней рубахе и штанах и спросил в темноту:

– Наши еще не снимаются?

– Нет. Еще постоим малость, – ответил я. И вошел с ним вместе в хибарку. Мой спутник тоже. Оба мы, не снимая бурки и башлыка, присели у ведра, стоявшего на полу. Из ведра шел соблазнительный запах вареной курицы.

– Лапшевник? – спросил я.

– Нет, кондер с пшена, – ответил один.

– Ну што ж, тоже не плохо с устатку, – сказал я, убедившись что имею дело с казаками... но только с чьими?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.